

KING COUNTY LIBRARY SYSTEM



31000022946829

Нина Берберова “Немного не в фокусе...”

СТИХИ 1921 – 1983

Н. Берберова



РЕДАКЦИЯ
СЛЕНА ШУБИНОЙ

Нина
Берберова
“Немного
не в фокусе...”

Стихи

1921 – 1983

Nemnogo ... ne v fokuse ... :

Author: Berberova, Nina



Москва
АСТ

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)6
Б48

Художественное оформление, макет и иллюстрации —
АНДРЕЙ БОНДАРЕНКО

Предисловие — ДМИТРИЙ БЫКОВ

Издательство благодарит Ирину Ронену за разрешение
на публикацию в книге статьи Омри Ронена “Берберова (1901–2001)”

Берберова, Нина Николаевна.

Немного не в фокусе : стихи, 1921–1983 / Нина Берберова. — М. : АСТ :
Редакция Елены Шубиной, 2015. — 168, [8] с. — (Вся Берберова).

ISBN 978-5-17-089217-4

Б48

Нина Берберова — автор знаменитых мемуаров “Курсив мой” — выступает в этом сборнике в непривычной современному русскому читателю роли — в роли поэта. Ее стихи, впервые публикующиеся на родине, — полная противоположность мемуарам. Это лирический дневник не “ума холодных наблюдений”, а “сердца горестных замет”, охватывающий более шестидесяти лет сложной, богатой и поистине легендарной жизни. А жизнь состояла из странствий: побег из России, Германия, Италия, Франция, после Второй мировой войны — Америка... Иллюстрации в книге стихов — это кадры хроники XX века, увиденного будто из окна мчащегося поезда, “немного не в фокусе”, как и сама поэзия Берберовой — “за рамками любых представлений о себе” (Дмитрий Быков).

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-17-089217-4

Anthologie personnelle, Nina Berberova © Actes Sud, 1998

- © 1984 by RUSSICA PUBLISHERS, INC.
- © ООО “АСТ”, 2015
- © А. Бондаренко, оформление, 2015

Оглавление

.....

Дмитрий Быков
Предисловие
7

.....

От автора
17

1921 – 1933
19

1942 – 1962
75

1965 – 1983
117

.....

Омри Ронен
Берберова (1901-2001)
153

Предисловие

.....

Нину Берберову с легкой руки Вознесенского часто называют “Мисс Серебряный век”: когда она выступала в Москве в 1989 году, держа удивительно бодро и естественно, было почти невозможно поверить, что она была последней, кого любил Гумилев, и первой, кто положил цветы в гроб Блока. Очень все близко. (Так в жизнь, скажем, Татьяны Яковлевой вместились любовь к Маяковскому и восхищение Бродским, а Саломея Андроникова успела побывать музой Мандельштама и благословить Лимонова.) В русском XX веке тот, кого не убили, жил долго, особенно если успевал уехать и начать заново.

Берберова уехала из России с Ходасевичем в 1922 году, будучи младше него почти на 15 лет и навеки заразившись его высоким, одухотворенным цинизмом; она ушла от Ходасевича семь лет спустя. Ей — хотя, разумеется, не только ей, а еще и русской революции, — обязаны мы последним взлетом поэзии Ходасевича, когда он решился выговорить вслух многое из того, о чем и думать боятся. Ее собеседниками были Гиппиус и Мережковский, Куприн, Бунин, Цветаева, Набоков, Горький, Жаботинский, Милуков и Керенский. С 1950 года она жила в Штатах, преподавала в престижнейшем Принстоне, вырастила несколько поколений славистов, для которых она никогда не была, впрочем, только “вдовой Ходасевича” (они, кстати, никогда не были женаты официально). Ее знали по блистательным мемуарам “Курсив мой” (1969 — в английском переводе, рус. изд. 1972), по историческому расследованию о русском масонстве “Люди и ложи”, по биографии “Железная женщина”, а в 1992 году прекрасный французский режиссер Клод Миллер инсценировал “Акомпаниаторшу”, спровоцировав новую волну интереса к ее прозе тридцатых.

Из всего ее обширного наследия — прозаического, поэтического, мемуарного, журналистского, драматургического, — лирику знают меньше всего. А ведь именно с этой лирикой она пришла записываться в гумилевскую студию, что и предопределило всю ее дальнейшую бурную судьбу.

Стихи Нины Берберовой оценивались по-разному. Гумилев и Ходасевич интересовались явно не ими, а ею. Правда, будь Берберова немолода и некрасива, она таких стихов не написала бы — все в них дышит силой, еще носит следы того энергетического заряда, который она получила при рождении и, кажется, так и не истратила до конца за свои 92 года. Есть в них и кокетство, сдержанное, ироническое, но именно то, какого у некрасивых не бывает.

Если же оценивать поэзию Берберовой по самому жесткому и не всегда справедливому критерию, — сколько ее строчек осталось на слуху и ушло в речь, — чаще других цитируется стихотворение 1921 года: “Только стала я косая, на двоих за раз смотрю. Жизнь моя береговая, и за то благодарю”. Некоторых мемуаристов, свидетелей ее романа с Ходасевичем, некоторая наглость этого признания неприятно удивила.

Впрочем, и сам роман Ходасевича с Берберовой отнюдь не вызывал одобрения у современников, особенно моралистов: “Завистницы говорили, что здесь назревало умыкание одного поэта одной грузинской княжной и поэтессой”, — вспоминала Ольга Форш в “Сумасшедшем корабле”. Княжна была не грузинская, а армянская по отцу, да и не княжна вовсе. Любопытна здесь роль, приписываемая Н.Н.: обычно умыкают княжну, а не наоборот; видимо, в глазах большинства товарищей по ДИСКУ (петроградскому Дому искусств) Берберова именно похищала Ходасевича у больной Анны Чулковой, тогда как инициатива в этих отношениях принадлежала отнюдь не ей.

Разговор о поэзии Берберовой неизбежно будет касаться ее знаменитых мемуаров (“Курсив мой”, при всей его пристрастности и фактографической сомнительности, все чаще называют великой книгой), о бурной, долгой и, в общем, триумфальной жизни. Ее стихи, рассказы и романы интересны как разнообразные проявления многократно декларированной жизненной позиции, которая укладывается в формулу 1941 года из “Курсива”: “Всю жизнь любила победителей боль-

ше побежденных и сильных более слабых. Теперь не люблю ни тех, ни других”.

А формула эта, в свою очередь, растет из стихов Ходасевича, повлиявшего на нее больше всех, хотя она не любила публично в этом признаваться: “Раз: победителей не славить. Два: побежденных не жалеть”. Однако заметим, что Ходасевич, слава Богу, не всегда следовал своему девизу и жалел побежденных даже против собственной воли, что в конце концов и делало его подлинным поэтом. Да и кто тут непобежденный, *sub specie aeternitatis*? Все умерли.

Стихи Берберовой доказывают, что жалела и она. Это маргиналии, заметки на полях жестокой жизни, уступки “железной женщины” (как назвала она Марию Будберг и как постоянно называли ее саму) собственной женской и русской природе.

Противоречила она себе и в другом: провозглашая любимый тезис об отсталости и провинциальности русской литературы — она все равно не знала на свете ничего более прекрасного и важного, всю жизнь об этой литературе писала, а вот о любимом Прусте не сказала ничего оригинального и хвалила, кажется, по обязанности. Ей ничего не стоило проявить показное равнодушие к религии, но по стихам видно, что она вовсе не была для нее пустым звуком, и Библию Н.Н. ценила не только с литературной стороны, не только как источник любимой легенды про Товия и ангела.

Берберова не знала Россию и, чего скрывать, не любила того, что понимают под Россией консерваторы, — ей была отвратительна и смешна традиция, “духовная матрица”, говоря по-сегодняшнему, и вообще она была человеком модерна, космополитичным и зачастую имморальным. Но от любви к родителям и языку не так-то легко избавиться, да и Родина, пусть она прожила на ней меньше четверти своей долгой жизни, не окончательно превратилась для Берберовой в абстракцию. Можно понять ее нежелание посещать места, связанные с детством, во время двухнедельного визита в перестроечную Россию (1989): “Я приехала не по кладбищам ходить!” Но в стихах есть та самая “давно разоблаченная морока”, с которой еще Цветаева пыталась покончить — разумеется, безуспешно.

Стихи Берберовой называют “постакмеистическими” — и это верно не только в историко-филологическом смысле: ак-

меизм вообще далеко не сводится к гумилевским декларациям, к проповеди силы и радости. Еще Блок — кстати, кумир Берберовой, герой лучшей ее биографической книги “Александр Блок и его время”, — заметил, что если подходить к акмеизму с точки зрения его манифестов, то ни Ахматова, ни Мандельштам в эту догму не впишутся. Акмеизм значителен прежде всего не этими конкистадорскими добродетелями, не цеховой дисциплиной, но возвращением к значимому слову, к детали, к фабуле; размытое, затуманенное слово опять обретает конкретику и вес. С этим новым опытом можно обратиться к самой сдвинутой, трагической, даже абсурдной реальности — и описать ее внятно, точно, трезво, с тем самосознанием, которое Берберова считала высшей добродетелью.

Не приняв и толком не поняв гумилевской личности, осмеивая его манеры, высокомерие, внезапные переходы от старомодной рыцарственности к гимназическому хулиганству, Берберова оказалась в итоге куда лучшей ученицей Гумилева, чем Георгий Иванов, Адамович или даже Одоевцева. Это акмеизм в новом преломлении — с гумилевской энергией и внятностью, но без тени гумилевского радостного авантюризма. Странно, что неунывающая Берберова, для которой любые кризисы были только возможностью обновления, — писала такие грустные стихи:

За погибшую жизнь я хотела любить,
За погибшую жизнь полюбить невозможно.
Можно много забыть, можно много простить,
Но нельзя поклониться тому, что ничтожно.

Эта гордость моя не от легких удач,
Я за счастье покоя платила немало:
Ведь никто никогда не сказал мне “не плачь”,
И “прости” никому еще я не сказала.

Там есть и третья строфа, но она декларативна, слаба и дописана, кажется, только ради гумилевского же правила — стремиться к нечетному количеству строф. (Правило-то, кстати, верное, и тот, кто разбирается в поэзии как в ремесле, на грубом прикладном уровне, понимает цену гумилевским советам.)

Берберова миновала многие соблазны — печаль “парижской ноты”, чересчур легко поддающуюся тиражированию, и чересчур произвольный сюрреализм Поплавского (у которого, однако, случались удивительно чистые ноты — “чем случайней, тем вернее” иногда срабатывает). Футуризм тоже был ей абсолютно чужд. Она не подражала и зарубежным образцам — в частности, высоко ценимому ею Эллиоту, которого прекрасно переводила, но любила все-таки вчуже. Она осталась верна классическому, стансовому русскому стиху, но избежала при этом и демонстративной архаики, которой так гордился Ходасевич. Если искать наиболее близкий ей аналог в отечественной, неэмигрантской поэзии, — это окажется, как ни странно, Мария Петровых, чьи стихи замечательно сочетали строгую классичность, выверенность формы и современную, почти разговорную лексику.

У Берберовой нет ахматовской королевственной позы, да и в жизни она ее избегала, хотя упорно и вдумчиво творила собственный миф; она, безусловно, человек XX века, для которого многие святыни относительны и надежды утрачены, — но ни отчаяния, ни громкой и жестокой радости разрушения в ее стихах нет. Это именно лирический дневник умного человека, смирившегося с неизбежным. Особо следует сказать об ее религиозной лирике, в которой отсутствие Бога и бессмертия декларируется с почти религиозным упорством. Может быть, если бы Лидия Гинзбург писала лирику, эта лирика была бы похожа на берберовскую. Что особенно важно, в стихах Берберовой нет виртуозности, хотя учителя у нее были достойные, от того же Гумилева до Белого.

Берберова, безусловно, могла бы выбрать любую лирическую маску и стилизоваться под кого угодно, — но в ее стихах мы слышим печальный и трезвый голос, чуждый любой напыщенности. Видимо, она понимала, что в этом столетии — которому она считала нужным соответствовать, — лирические котурны смешны, а сюрреалистическим бредом не отделаешься. Можно все объяснить и со всем смириться, но плакать душе не запретишь. В общем, это стихи нормального человека, каковым Берберова всю жизнь себя считала, высмеивая чужую ненормальность и не снисходя к ней; но оставаться нормальным в такие времена — тоже добродетель. И если в быту — а равно и в пе-

реписке, и в мемуарах, — она открыта новому опыту и с радостью меняется, стихи на протяжении шестидесяти лет остаются почти неизменными, и неизменен главный их пафос: да, все так, не будем ни от чего прятаться, но, Боже, до чего грустно.

Лучшим же, что она написала (это так хорошо, что я долго проверял — действительно ли она сочинила эти строчки или подслушала у кого-то из великих приятелей), представляется мне эпиграф к диптиху “Ветренная Геба”:

Все должно быть немного не в фокусе,
Говоря как бы: На-ко-ся, выкуси!

Это короче, чем у Венедикта Ерофеева, хотя ровно на ту же тему: “Все на свете должно происходить медленно и неправильно, чтобы не сумел загордиться человек, чтобы человек был грустен и растерян”. Все должно быть слегка непонятно, трудноуловимо, чтобы человек не подумал вдруг, что он чего-нибудь понимает. В сущности, это еще одна вариация на автоэпитафию Сквороды “Мир ловил меня, но не поймал”.

Нина Берберова тоже немного не в фокусе, тоже за рамками любых представлений о себе; и ценность ее книги стихов, переиздаваемой теперь и в России, — состоит и в этом горьком, но спасительном жизненном уроке.

..... Дмитрий Быков
2014 г.

Нина Берберова



СТИХИ

1921–1983

..... *Памяти Владислава Ходасевича*

От автора

.....

Стихи всех трех разделов подобраны в относительно хронологическом порядке.

Стихи первого раздела (1921–1933), если место написания их не обозначено, были написаны в Париже.

Стихи второго раздела (1942–1962) до 1950 года были написаны в Париже, после 1950 — в США.

Стихи третьего раздела (1965–1983) написаны в США, кроме Берлинского цикла, который написан в Западном Берлине.

Стихи двух первых разделов были напечатаны в различных периодических изданиях тогда же, когда были написаны, большинство — в журналах и сборниках, но немало и в газетах. Стихи третьего раздела никогда раньше напечатаны не были, кроме цикла “Ветреная Геба” (Литературный сборник “Russica-81”) и стихотворения “Гуверовский архив”, которое помещено как эпиграф в книге проф. Дэвида Бетэа “Владислав Ходасевич” (в русском оригинале и английском переводе).

..... Н. Б.
Принстон, 1984

1921–1933

.....

.....

Тазы, кувшины расписные
Под теплым краном сполосну,
И волосы, еще сырые,
У дымной печки заверну.

А после, девочкой веселой
Пойду с распущенной косой
Ведро носить с водой тяжелой,
Мести уродливой метлой.

Как хорошо, что мы далеки
Сейчас от помыслов пустых,
Что нынче сном моим жестоким,
Наверное, не будешь ты!

.....

Петербург, 1921



Честно, весело и пьяно
Ходим в мире и поем,
И втроем из двух стаканов
Вечерами долго пьем.

Есть жена, и есть невеста,
У меня — отец крутой,
Ну так что ж, что нет им места
В нашей страсти круговой?

Спросит робкая подруга:
Делят как тебя одну?
Поведу плечами туго,
Узкой бровью шевельну.

Только стала я косая:
На двоих за раз смотрю...
Жизнь моя береговая,
И за то благодарю!



Петербург, 1921



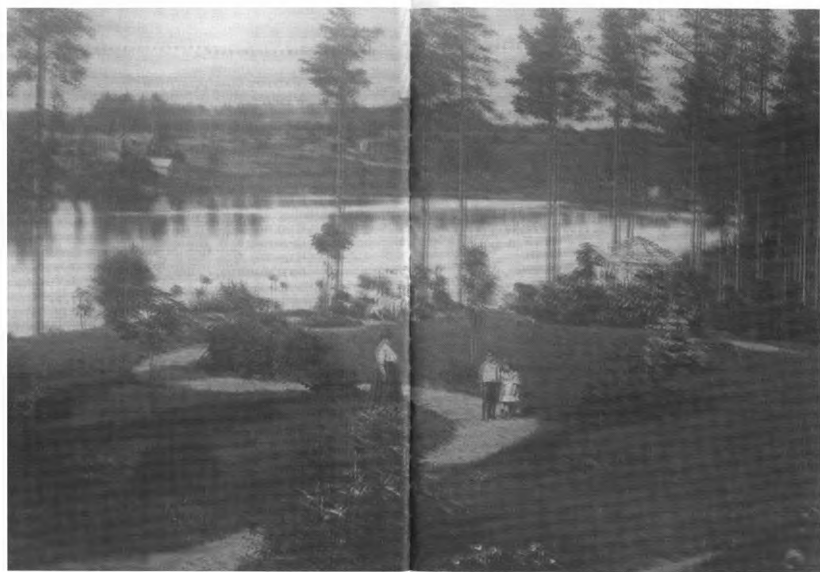
За эту ночь безветренную или
За эти два спокойных зимних дня,
Пока с тобою мы не говорили,
Тихонько вызвездила жизнь моя.

А я в то время думала о малом
Под жесткой полостью моих саней,
Ладонь под рукавицей замерзала,
И где-то путались концы вожжей.

И вот смотрю: в дуге под бубенцами
По-новому шевелится земля,
И тряские, пустынные поля
Бегут ко мне шуршащими краями.



Петербург, 1921



ПЯТОЕ ЯНВАРЯ



За ужином к приборам свечи
Зажжет отец свечой одной,
Необычайны будут речи,
И рис, и рыба, и вино.

Мой светлый праздник под Крещение,
Мое второе Рождество, —
Не знаю я сопротивленья
Волненью сердца моего.



Петербург, 1922

ПЕТЕРБУРГ



Там мирный город якорь кинул
И стал недвижимым кораблем,
Он берега кругом раздвинул
И все преобразил кругом.

И нынче мачты напрягают
Свой упоительный задор,
И в мрак глядят, и в мрак вонзают
Поблескивающий узор.

Не различить границ пустынных —
Где улицы, где берега?
Средь площадей, дворов, гостиных
Один озноб, одна пурга.

И я сама жила недавно
На том огромном корабле,
И возле мачты самой славной
Ходила и ждала во мгле.

О том, что мы живем на море
Умела дивно забывать,
Когда в пустынном коридоре
Ты выходил меня встречать.

Узнай теперь, как нас качало,
Как билась буря о борты,
Когда тебе казалось мало
Молчания и тишины.



Берлин, 1922



Перед разлукой горестной и трудной
Не говори, что встрече не бывать.
Есть у меня таинственный и чудный
Дар о себе тебе напоминать.

В чужом краю, в изгнании далеком,
Когда-нибудь, когда придет пора,
Я повторю тебя одним намеком,
Одним стихом, движением пера.

А ты прочти, как мысль мне возвратила
И прежние слова твои, и тень,
Узнай вдали, как я преобразила
Сегодняшний или вчерашний день.

Какой еще для нас ты хочешь встречи?
Я отдаю тебе одной строкой
Твои шаги, поклоны, взгляды, речи, —
А большего мне не дано тобой.



Берлин, 1923

ВАЛЬС



Шарманка играет,
Трещит мороз.
На коврике пляшет
В бубенчиках пес.
А дворник окошко
Открыл и кричит,
Шарманщику машет,
Убраться велит.

Хозяин не видит —
Давно он слепой,
Хозяин не слышит —
От вальса глухой.
А пес не смеет
Танец прервать:
Коченеет, и дышит,
И танцует опять.



1924



От ваших сказок и рассказов
О рукавах-окороках,
О непомерных шляпах в стразах
И о прозрачных веерах

Вспоминанье оживает
Еще не дальних детских дней,
И милый образ мне кивает
Далекой матери моей.

Я помню талию такую,
Какой теперь не встретить вам,
Я помню муфту меховую,
В мороз прижатую к щекам,

Я помню перья шляпы зимней
И черепаховый лорнет,
И длинный шлейф среди гостиной,
Которому возврата нет...

Перед войной последних балов
Был ослепителен закат,
И ночью сонно и устало
Ловил мой сонный детский взгляд

Зеркал полночное блистанье
Вокруг меня, а надо мной
Серег огромных кольханье,
Огонь ожерелья голубой.

Меня высоко в лайке белой
Крестила узкая рука,
Стучали каблучки, звенела
Входная дверь издалека...

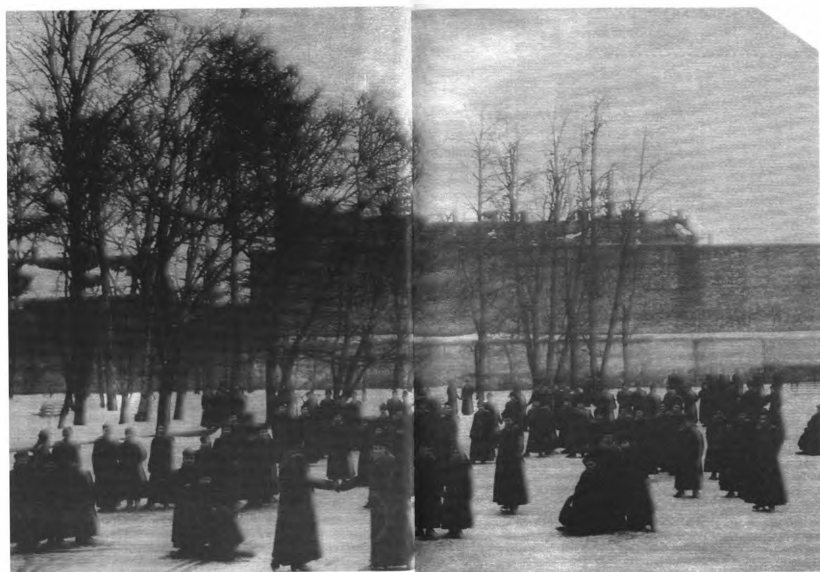
Я помню пышную прическу,
Веселый взгляд, спокойный лик,
Я помню холеных до лоску
Ногтей невозмутимый блик,

И платье с воротом из тюля
(Четыре косточки на нем),
И зонтик кружевной в июле,
Вуаль на берегу морском.

Такой прекрасной светлой дамой
В воспоминаниях сиять
Приходит нежно и упрямо
От ваших разговоров мать,

И впечатлений детских сумма
Проходит в памяти моей:
Смерть Льва Толстого, Бейлис, Дума,
И карта с флагами на ней.





ЛИРИЧЕСКАЯ ПОЭМА



I

Двадцатый век, двадцатый год,
Пожары, казни, недород, —
На побережье старой Сены
Я всё забыла. Я живу,
Не вспоминая страшной смены,
Теней ушедших не зову.
Земля, старинная вертушка,
Впервые здесь предстала мне
Не как набитая теплушка,
И не как отчий дом в огне.
Пусть дым покинутых селений,
Отчизны дым, без сожалений
Минует наконец меня:
Довольно дыма и огня.

На берегах зеленой Сены
Привольно ворковать ветрам,
На берегах зеленой Сены
И жизнь, и смерть готовы нам.
И над кладбищем и над градом
Один простор — не выпьешь взглядом.
О, в Елисейские поля
Преображенная земля!
Здесь ходим мы. Хромает нищий,
Красотка кутает плеча,
Осматривает вор жилище,
Засов и ставень богача.
И сам богач, но он не ходит,
Он проезжает мимо нас,
И на прохожего наводит
Спокойный, застекленный глаз.
Здесь ходим мы. И каждый вечер
От этих шумных площадей
Душа летит. Не надо ей,

Стремящейся к высокой встрече,
Ни темноты, ни тишины:
Мне в шуме ночи снятся сны,
Мне в блеске ночи снится вечность.

Двадцатый век, двадцатый год
Не снятся мне с тех пор, как тот
Мне сон приснился незабвенный,
Тот непорочный, сокровенный,
Он, как виденье, был мне дан
Сквозь жизни правду и обман.
С тех пор в часы мои ночные
Не вижу я былых годов
И тех сентиментальных снов,
Он заменил мне сны былые.
И снилась мне всего лишь раз
Дождями размытая дорога,
И колеи, в закатный час
В пыли лежащие убого,
И ржи глубокая волна,
И над полями тишина...
То было раз. Все, что мелькало,
Теперь из памяти ушло.
А было, кажется, немало:
Ведь спутников с ума свело.
Они на чердаках, в подвалах,
В германских рощах, в луврских залах
Полны бесплодную тоской.
Не то произошло со мной.

В тот год весна не приходила,
В апреле трепетал мороз,
А лето фейерверк пустило
Над городом ракет и гроз,
И в небеса вонзилась прямо
На башне Эйфеля реклама.
В тот год мосты дрожали от
Зевак, — на выставку народ
Глазел, и били барабаны,

И семицветные фонтаны
Неслышно прядали во тьму,
И гасли там по одному.
В тот год, я помню, карусели
Визжали, музыкой звеня,
И кряду, верно, две недели
Играл оркестр средь бела дня
На площадях. В тот год базаров,
И суеты, и зноя, в тот
Веселый, безобразный год,
Под свист “Белотт”, под гомон баров,
Мне снился небывалый сон,
Был тяжек и прерывист он.

Я помню первый день творенья,
Как люди помнят прежних лет
Россию, и ее значенье —
Поместье, титул, эполет.
Передо мною сновиденья
И возникают, и дрожат,
Дневной я замыкаю взгляд
И вижу первый день творенья.
И родины я не хочу,
И не хочу я пробужденья:
Я у царя царей гошу,
Я снова дух, да, снова тень я,
Я вижу первый день творенья,
Первоначальную зарю
Вселенскую....

Я говорю:
Немного надо в этой жизни
Бродяге, страннику и мне:
Мы не скучаем по отчизне,
И по кастрюле на огне.
Двадцатый век, двадцатый год
Из памяти ушли. И вот
Эдема праздник незабвенный

Явился мне в полночный час
Напоминаям о вселенной.
Я во второй видала раз
Ту левантинскую долину,
Тот первый благодатный сад,
Я вновь слышала, как Евфрат
Шумит...

О, жизни половина!
О, сновидения мои,
Вы слаще дружбы и любви.

.....

2

Мать-бездна, ты разверзла лоно,
И Бог сказал: “Да будет свет!”
И в пустоте грядущих лет
Бог отразился благосклонно.
И он увидел, что досуг
Его велик, простертых рук
Бледны и одиноки тени,
В пару лежат его колени,
И голова его в пару,
И он воскликнул на ветру:
“Здесь будет мир. Мое творенье.
Земля и небо будут здесь.
Хочу я тверди дать вращенье,
Хочу я небеса вознесть”.

И он сказал: “Отхлыньте, воды,
Движенья смысл вам будет дан:
Закон незыблемой свободы,
Прилив, отлив и ураган.
А ты, земля, листвой зеленой,
И мхом, и злаком облекись,
И каждый ствол новорожденный

Плодами в срок обременись.
И в срок цветы, роняя семя, —
Всему даю пространство, время”.

И Бог сказал в четвертый раз:
“Над духом уст моих высоким,
Над воинством небес стооким,
Зажгитесь, звезды, в этот час,
Вонзитесь, первые кометы,
В земли необозримый мрак,
Зажгитесь, луны и планеты,
Явись, о солнца жаркий зрак, —
Да будет день!” И стало так.
“Да будет ночь!” И ночь настала,
И солнце запад свой узнало.

И снова был вселенский день,
И Бог понесся над землею
И, наблюдая свет и тень,
Воскликнул он: “Душой живою
Земной да оживится прах!”
И вылез червь во славу Бога,
И птица порхнула в кустах,
И темною лесной дорогой
Запрядал волк, а подо мхом
Волчица в теплом мраке лога
Волчат вскормила молоком.
И день шестой к концу клонился,
И Бог залюбовался сам
На мир, что вдруг зашевелился,

Покорный божеским словам.
Он поднимает первый палец:
Звезда над озером встает,
Второй он поднимает палец —
И птица над цветком поет.
Он поднимает палец третий —
Звезда заходит за звезду,

Четвертый палец — вихрь столетий,
И соловей уснул в саду.
И вот он руку расправляет:
Всё опочило, хлеб растет,
И ангел мимо пролетает
И под рукой его поет.

И вот теперь мне снится сон,
Меня в былое возвращая.
Я той же волей сотворен,
Во тьму пространств, во тьму времен,
И я восстал на лоне рая.
И видели мои глаза,
Как первая пришла гроза,
И первый предрассветный ливень
Меня трикраты окропил,
И первый луч меня крестил,
Чтоб стал я радостен и дивен.

Все, что я знаю, я узнал
В те первые часы свершений,
И был закон тогда мне дан
Для всех грядущих поколений.
И говорил со мною он,
И крепок был его закон:
“Сажая я вот это древо
Направо от тебя, Адам.
Другое — от тебя налево,
И оба в дар тебе я дам.

И нет запрета в сих садах
Тебе ни в чем, о сын мой милый,
Здесь *будет* все, ничто не *было*,
На этих вольных берегах”.
И я: “Да будет так в веках!”

И вот теперь мне снится сон,
Прошедшего не искажая:



Fig. 10.1



Fig. 10.2

Я был тогда благословлен
Для вольной жизни в лоне рая.
Он ничего не запрещал
Мне, человеку, в день творенья,
Я ничего не преступал,
Не знал соблазна и смущенья.

И если здесь я среди других —
Я не в изгнанье, я в посланье,
И вовсе не было изгнанья,
Падений не было моих!



3

Я видел день, я видел миг
Меж днем и вечером. Туманы
Вечерние, и среди них
Вечерний мир благоуханный.
Я видел пламенный закат,
Цветов огромных над рекою
Шептанье, и как медлил сад
Предаться ясному покою.
И шевелился сонный злак,
Склоняясь в райскую дремоту,
И уходили в дальний мрак
Ночные звери на охоту.
И я, простертый на камнях,
На теплом мху, в вселенском доме,
Я спал, как птицы спят в кустах,
Как спит ягненок на соломе.
Я видел сон. Тот сон во сне
Не рассказать словами мне.
И в нем я снова слышал Бога,
Но к сновиденью моему
Мешалась страстная тревога —

Я сам не знаю, почему.
В том сне блаженном, мне казалось,
Рука могучая старалась
Мне вынуть правое ребро,
Метался я, ловя порой
Рукою сонной чью-то руку,
И длил томительную муку,
И счастьем называл ее.
О, счастье древнее мое!

.....

4

Не потому ли так спокоен
Души ямбический полет,
Что мир вокруг нее нестроен
Который век, который год?
Да, сладок ход противоречий,
И утверждения свои
Душа несет в глухие дни,
Как в темноту — простые свечи.
Она несет в глубокий мрак
Опустошения земного
Знак возвратимого былого,
Божественного духа знак.
И сон, что снится ей в беспечном
Каком-то городе большом,
Не кажется ей праздным сном,
Но откровением предвечным.
И сладко ей тогда мешать
В прозрении своем блаженном
С убогим, суетным, презренным
Незыблемую благодать.
Не потому ль и сон мне снится
Сквозь дрогнувший столетий ход,
Не потому ль смогли забыться

Двадцатый век, двадцатый год,
Не потому ль сейчас не нужен
Мне дальний дом, забытый кров,
Среди темнеющих снегов
Российский грубоватый ужин, —
Что не во сне, а наяву
Я родиною рай зову?

Я отлетаю в поздний час,
Когда грохочет город шумный,
И буржуа благоразумный
Под супом зажигает газ,
Когда в асфальте тонут блески
Неисчислимых фонарей,
И с этих буйных площадей,
И с этих буйных перекрестков
Слетает человечесий стон,
И в звездах повисает он.

Я говорю: я не в изгнание,
Я не ищу земных путей,
Я не в изгнание, я — в послание,
Легко мне жить среди людей.
И жизнь моя — почти простая —
Двойная жизнь, и, умирая
В каком-то городе большом,
Я возвращусь в мой древний Дом,
К дверям которого порою
Я приникаю, может быть,
Как к ветке лист перед грозой,
Чтоб уцелеть, чтоб пережить.

.....

1924–1926

Труд былого человека,
Дедовский, отцовский труд,
Девятнадцатого века
Нескудеющий сосуд

Вы проносите пред нами,
Вы несете мимо нас,
Мы грядущими веками
Шумно обступили вас.

Не давайте сбросить внукам
Эту ношу с ваших плеч,
Не внимайте новым звукам:
Лжет их воровская речь.

Внуки ждут поры урочной,
Вашу влагу стерегут,
Неразумно и порочно
Расплескают ваш сосуд.

Я иду за вами тоже,
Я, с протянутой рукой.
Дай в мою ладонь, о Боже,
Капле пасть хотя б одной:

Полный вещей тайны некой
Предо мной сейчас несут
Девятнадцатого века
Нескудеющий сосуд.



Маляр в окне свистал и пел
Миньону и Кармен.
Апрельский луч казался бел
Вдоль выбеленных стен.

Внизу одни на дне двора
Растения в горшках
Большие листья-веера
Склоняли в пыль и прах.

Мне скоро двор заменит наш
Леса и города,
Мне этот меловой пейзаж
Дарован навсегда,

Как лодка — бедному веслу,
Как гению — толпа,
Как нагруженному ослу
Гористая тропа.



1926



Сложить у ног твоих весь этот страшный мир,
Где уличный певец со шляпой нас обходит,
Где ангелы в платах, изношенных до дыр,
Под траурным дождем по тротуарам бродят.

Сложить у ног твоих на городских камнях
Закон законов всех и тайну мирозданья,
Весь этот дикий мир в искусственных огнях,
Где мы живем с тобой, шепча свои желанья.

На свете я одна и нет меня другой,
На свете ты один и нет тебя другого,
И в нас одна любовь, о друг мой дорогой,
До смерти, до конца. И после смерти снова.



1926

7 АВГУСТА 1921 ГОДА



Я помню день тому пять лет назад.
Над летним Петербургом дождь и ветер.
Таврический, глухой я помню сад
И улицы в передвечернем свете.

На одеяле первые цветы,
Покой и хлад в полузакрытом взоре,
И женщины увядшие черты,
Растрепанной от бедности и горя.

Я помню день, унылый, долгий день,
В передней — плач, на лестнице — смятенье,
И надо всем — нездешней жизни тень,
Как смертный след, исполненный значенья.

И я сама, тому всего пять лет,
Стояла там, и видела обоев
Рисунок пестрый, и в окошке след
Дня, уходившего, не успокоив.

Пять лет тому! Куда ушли года
Невозвратимой юности и жара?
Спроси: куда течет весной вода?
Спроси: где искры горнего пожара?



1926

ГИТАРА



В передвечерний час,
В тумане улиц старых
Порой плывет на нас
Забывтый звон гитары.
Или открыли дверь
Оттуда, где танцуют?
Или в окне теперь
Красавицу целуют?

Над этой мостовой
Она звенит, как прежде,
Старинною тоской
По счастью и надежде.
Ее поет другой
Теперь в часы заката,
Она осталась той,
Какой была когда-то.

А ты? Прошли года
Речной волны быстрее,
Ты любишь, как всегда,
Ты стал еще вернее,
Ты стал еще нежней,
Чем в первые свиданья,
Твой жар мучительней,
Мучительней признанья.



1926





Мне этот вечер слишком ясен,
Мне этот ветер слишком тих,
И только горизонт прекрасен:
Он — грань далеких вод живых.

Как шов, соединивший ткани,
Он слишком вечен, слишком прям,
Он — часть вселенских очертаний,
Которых не расчислить нам.

Такою же прямой чертою
Соединен твой светлый взор
С взошедшей на воды луною
И со звездой над кряжем гор.

И, может быть, мы не узнали
Еще, как непреложно тут
С земли восходят вертикали
И к тем высотам нас ведут.



Канн, 1927

.....

Без женской нежности, друзья, как жить?
Без женской прелести кого любить?
Глазами бедными кому сиять?
Руками слабыми кого искать?

Глядит с большого темного холста
Навеки данная тебе мечта,
Она к тебе из незабываемых книг
Высоколобый свой подымлет лик.

Ее Лаурой, Юлией зови,
Или Еленой, но без любви
Ты жить не можешь. Всем нам снится сон,
Никто любовь не обойден.

.....

1927

ВОСЬМИСТИШИЯ



I

В этот день был такой небывало протяжный закат,
В красном небе чернели дома и пустынный наш сад.

В эту ночь от бесчисленных звезд было сердцу невмочь,
И раскрыли мы окна в широкую, жаркую ночь.

А наутро прохладу морей легкий ветер пронес,
Стало слишком пестро от расцветших глициний и роз.

И в тот вечер ушел я, и думал о нашей судьбе,
О любви своей думал, опять — о себе и тебе.



2

Спроси, и я отвечу
Неограченным “да”.
Назначь — тебя я встречу,
И я приду туда,
Где в камни бьется ливень,
Где улиц дым и смрад,
И скажешь ты: “Как дивен
С тобою этот сад!”

.....

3

У милых, нежных сомкнутых колен,
В пустынном, молчаливом старом доме,
Укрыть лицо в твои ладони,
Благодарить за долгий плен.

Останови часы, и ветер станет в трубах,
И в тучах остановится звезда.
Приблизь сияющие губы,
Сдержи летящие года.

.....

4

Не надо этой скромности,
Но как же сметь сказать?
В непреходящей радости
Мне суждено дышать,
В неутоленной младости
Мне суждено прожить,
И в беззаконной вольности
И выбрать, и любить.

.....

5

От счастья я могу устать
И пожелать тоски и муки.
Мне хочется порою сжать
Твои бледнеющие руки,

И думать над судьбой своей,
Что так, в неизвестности, сумела
Сквозь жизнь, положенную ей,
Достичь последнего предела.

.....

6

За гордость давнюю, за одинокий сон,
Мне отомщение: я навсегда влюблен.
За эту тайну тайн, открывшуюся мне,
Мне отомщение: я навсегда в огне.

И так бессмысленно о будущем гадать:
Я все равно, пойми, не в силах проиграть,
Мне все равно, пойми, со мной ты или нет:
Я слышу трубный звук, я вижу вечный свет.

.....

1927

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ



— Скажи, ты помнишь ли Россию
На берегах восьми морей,
В кольце тяжелых кораблей?
Скажи, ты помнишь ли Россию?

— Я помню, помню... Я из тех,
В ком память змием шевелится,
Кому простится смертный грех
И лишь забвенье не простится,
Из тех, в ком дрожь не отошла,
В ком память совести прочнее.

К погосту дальнему вела
Зеленокудрая аллея.
И на погосте, где сирень,
Где летний день бывал так жарок,
Звенел порою в летний день
Венок фарфоровых фиалок
И металлических гвоздик,
Железных, ломаных, линючих,
А роз живых, но роз колючих
Был куст так ароматно дик
Между фиалок и гвоздик.
Венок железный тихо звякал,
И кто-то шел по мхам могил,
И кто-то шел, и кто-то плакал
И сам с собою говорил:
“Прощай, прощай, моя родная,
И незабвенная моя!”
И подступали зеленыя
К ограде, нежась и сверкая.
Наденьте, годы, на меня
Нетленной памяти вериги.
Был дом просторный, люди, книги,

Свет оплывающего дня.
Об одиночестве, о воле,
То с упоением, то с тоской,
О тайной дружбе в шумной школе
Мечта являлась за мечтой,
Стремилась ласточкой живой.
Когда закат, немного грубый,
Расстелется за тем окном,
И розовым вдруг станет дом,
Шепнут младенческие губы
Два имени, что за собой
Ведут, как рог горниста, в бой.
Два имени. И молчаливо
Возникнут страшных два конца:
Тот труп в ненастье, у обрыва,
Тот снег, у смутлого лица.
И встанут две за ними тени,
Два призрака, истлевших без
Прощений, без успокоений —
Скажи: Мартынов и Дантес.

Любило слишком сердце наше
Глухой простор былых дорог,
И медяки в долбленной чаше,
И нищий взгляд: помилуй Бог!
Дорога пылью облачится,
Слепой высоко запоет,
На мальчика облокотится
И вслед за мальчиком пойдет.
За кладбищем, за старым домом
Пройдут они своим путем,
Тысячеверстным, но знакомым...
Там, может быть, и мы пройдем.

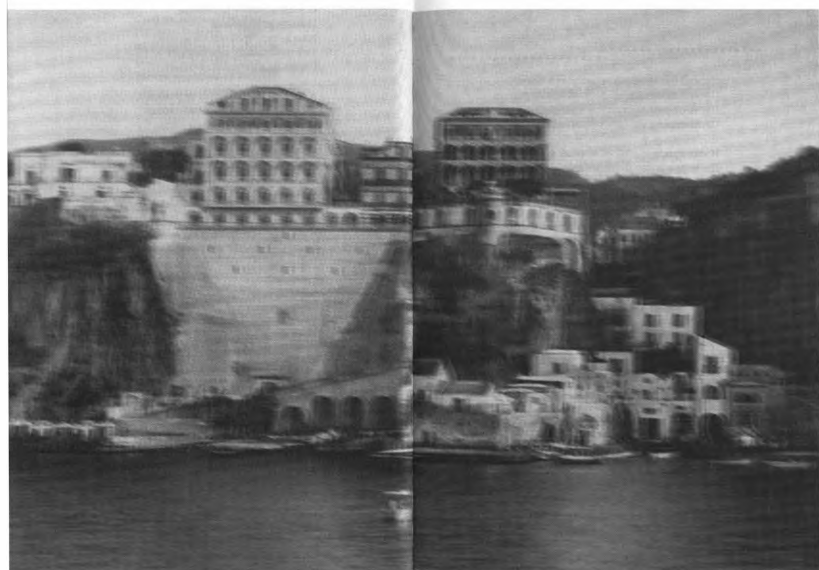
В осенний вечер слишком рано
Темнеет. Сядем у костра.
В дыму соснового тумана
Мы будем слушать до утра
О смерти дикое сказанье,

О жизни долгое молчанье,
И донесет издалика
Нам ветер, чрез поля и кручи,
Неотвратимый, неминучий
Скрип надмогильного венка.

Я слышу: гнется крест огромный,
Я слышу: стонет ржавый гвоздь,
И ветер, всероссийский гость,
Летит по всей России темной,
Метет фиалок черепки,
Гвоздик бывые лепестки,
Что нам, в неотошедшей дрожи
Сицилианских роз милей,
Альпийской лилии дороже, —
В нас память совести прочней.

.....

1927





Пускай блаженство переходит в боль,
Пускай любовь перейдет в измены,
Пусть от разбрызганной прибрежной пены
Останется на камнях только соль,

И над крестом возлюбленной могилы,
Где черви точат мертвые глаза,
Кошунственно не раз пройдет гроза,
Тревожа мертвеца полночной силой.

Пусть будет так. Но жизнь хотела быть
Величественной, женственной и ясной,
И не могу смириться и забыть
Ее рассвет пророчески-прекрасный.



Париж, 1930



Припомни день вчерашний, —
Счастливые года!
От молодости нашей
Ни тени, ни следа...
Но мы еще живучи,
И можем повторить
Тот шквал, тот неминучий,
Что удалось прожить.

А помнишь, как, бывало,
Мы разбивались в кровь?
Начнем же все сначала,
И голод, и любовь.
Не говори, что силы
У нас с тобой не те:
Вот мир все в той же милой
И дикой красоте.

Пусть ты смирней и глуше,
Пусть я не хороша,
В бессонницу подслушай,
Как плачется душа.
О чем ее рыданья?
Она готова вновь
На вечное скитанье,
На нищую любовь.



1930

НАДПИСЬ НА КНИГЕ



Если б я искал защиты
От всемирного огня,
Я б пришел к тебе навеки,
И укрыл бы ты меня;
Если б я боялся жизни,
Смерти, скуки, суеты,
Я б пришел к тебе навеки,
И меня б утешил ты.

Но, прости, я в этом мире
Счастья вовсе не ищу,
Я хлебнул такой отравы,
Что покой не по плечу.
Я хлебнул такой свободы,
Что меня не приручить,
И любовь до гроба
Это сердце не прельстить.

Не суди мои дороги,
Эти темные пути!
Там таких, как ты, наверно
Лучших в мире, не найти.
На последнее признание,
Милый друг, не отвечай,
Дай мне руку на прощанье,
И прощай, прощай, прощай!



1932

За погибшую жизнь я хотела любить,
За погибшую жизнь полюбить невозможно.
Можно много забыть, можно много простить,
Но нельзя поклониться тому, что ничтожно.

Эта гордость моя не от легких удач,
Я за счастье покоя платила немало:
Ведь никто никогда не сказал мне “не плачь”,
И “прости” никому еще я не сказала.

Где-то пляшет под флейту на палке змея,
Где-то слепо за колосом падает колос...
Одиночество, царственна поступь твоя,
Непокорность, высок твой безжалостный голос!



Первый отрывок

Не может сердце разлюбить.
Темнеет день, проходят годы,
Все продолжает сердце быть
И слушать времена и воды.
Все продолжает сердце жить.
На площади, совсем некстати,
Так продолжает нас смешить
Израненный шпагоглотатель.
И прстидижитатор тот,
Огнем пылавший, как комета,
И больно опаливший рот,
Напоминает сердце это:
— Оно не в силах разлюбить,
Оно некстати хочет жить.
Оно так хрупко и так мало,
Оно не дышит, но дрожит,
И кажется, что обветшало
От гибелей и от обид,
От отмелей, морей и устей.
Но сердце продолжает жить:
Оно под сапогом не хрустнет,
Его в огне не растопить.



.....

Второй отрывок

Мы потерялись, мы прошли
В тумане мировой пыли,
И с нами вместе пеной смыты
Загубленные Афродиты,
Безносый царь, безрукий бог, —
Всё это был над миром вздох.

Летучей жизни ход жестокий
Мне не поправить, не вернуть,
Не выжечь памяти стоокой,
Себя ничем не обмануть.
Всё для тебя: и топот ночи,
И дней набег, и эти очи,
Что все синей, все хорошей
Сверкают в памяти моей.

Да, наши жизни были разны.
Мой жар по холоде твоём,
Твой гнев за нежность и соблазны
Палили нам сердца огнем.
Но ты, смеясь, в воде не тонешь,
И не сгораешь на огне,
И гибнуть в вихре беззаконий,
Конечно, выпало лишь мне.

Но с временем еще в борьбе,
В том мире, где мы так любили,
Дай о тебе и о себе
Подумать. Это слезы были,
Вздох, ставший под конец невмочь.
Но если наступает ночь,

И гибнешь ты, как Афродита,
И гибну я, как ты, как все,
Пусть то, что было пережито,
Еще хоть раз во всей красе
Мне память рассечет секирой:
Тот мира вздох, те слезы мира.



Третий отрывок

Не надо писем, слов не трать...
В ночи по дому ходит тать,
И от комода до буфета
Он рыщет в комнате без света,
И вот — находит серебро.
Но капает вода в ведро,
И просыпается хозяйка.
(А под подушкой нет ключей.)
Тревога, крик... Но он ловчей,
Чем кошка — в тьму. Поди, поймай-ка!
Он все унес, и не сыскать.
И вот, как он (кричать не надо),
Сквозь глушь двора и дрему сада
Приду тебя я воровать.

Во мраке спит высокий берег,
А море синее внизу.
Колышет ночь тяжелый вереск,
Луна похожа на слезу;
Дрожат в воде ее движенья,
И над красою превращенья
В ртуть переимчивой воды
Задумались над морем сосны,
И в мраке милы и несносны
Далекоей музыки следы.
В безмолвной даче окна плотно

Закрыты, и залег засов.
В безмолвной даче беззаботно
Ты спишь, и над тобой дремотно
Проходит рой теней и снов.

А я сквозь заросли сирени
Взбегаю тайно на ступени,
Преступно подобрав ключи,
И по гостиной легче тени
Бегу, без шума, без свечи,
К дверям твоим. Молчи, молчи!
Ковры глушат мое дыханье,
Изнеможение свиданья
Меня за дверью стережет.
Не знаешь ты: запретной встречи
Подходит воровской черед,
И вот: глаза твои, и плечи,
Испугом искаженный рот.

Но мне не перенести свиданья,
Такого счастья мне не снести.
Все это — вдохновенья мечь
За все твои очарованья.
Пиши мне письма, трать слова,
Цветы, и вереск, и трава
Ногой моей не будут смяты.
Открой же окна широко
В ночь, полную луны и мяты, —
Вор одинокий, вор проклятый
От белой дачи далеко.

Там, в городе, неслышно бьется
Ночное сердце. Мерен звук.
Оно живет, оно плетется
В чреде беспамятных разлук.
Безумной вылазки у моря
Ему вовек не пережить,
Такого счастья и горя
Не может в этом мире быть.



Волною нежной и холодной
Омыла память ты свою
И вот, забвенья на краю,
Ты чувствуешь себя свободной.
Все позабылось, все прошло
В краю, где море пеной плещет,
А в городе одно трепещет
Ночное сердце, как крыло.
Мне страшно за его биенья,
За слишком кроткий ход его,
Оно не хочет ничего,
Ни ревности, ни преступленья.
Когда-то в бурях мировых
Оно дышало за двоих,
В холодных сумерках изгнания
Оно не дрогнуло еще,
Оно лишь билось горячо
В минуты нашего свиданья.
Оно умеет так молчать,
Оно не смеет застучать.
И страшно мне его смиренье,
И страшен тихий ход его.
Позволь унять его биенье:
Не любит сердце никого.



Четвертый отрывок

Была червонною земля,
Стелились нежные поля,
И сердце реяло, как птица,
Но птицелову примоститься
В овраге удалось, и вот
В порядок сети он приводит,
Потом, таясь, к меже выходит,
На землю зеркало кладет.
Блестит кусок воды и стали,

А жаворонок без печали
Струится в небе голубом,
И, нисходя и возлетая,
Поет о милой выси мая,
О горле маленьком своем.
Но блеск внизу, и отблеск неба
В покое зреющего хлеба:
Там то же солнце, что вверху,
Там тот же край лазури пышной,
Там в бездне ложной, в бездне лишней,
В цветах, полыни и во мху
Лежат знакомые высоты
Голубизны и позолоты.

Он канет в синее стекло,
Там так же ярко и светло,
Там плен душе его навеки,
В плеснувшей сети тяжело
Опустит крылья он и веки...
Певучий, солнечный туман,
Спасибо за такой обман,
За миг один путей потери,
За в смерть распахнутые двери,
За то, что верх и низ слились,
За опрокинутую высь.

О, зеркало мое ночное!
Со звоном падаю в тебя.
И принимаю роковое,
Изнемогая и любя.
Когда отходят волны мира,
Когда летит из-за Памира
По небу черный метеор,
Я гибну от любви и песен,
И так смешон, и так чудесен,
И так печален мой позор.

Тысячелетнее виденье,
Окончен мир, и ты, и я

Через неверное мгновенье
Окончимся, любовь моя.
Растаешь ты, а я впотьмах,
Еще тебя благословляя,
Со звоном высоты в ушах,
Полет последний ускоряя,
Паду — во весь летя опор,
Хрустя костями, в мой сумрак низкий,
Как тот азийский метеор,
Как жаворонок тот российский,
Крича, разбрызгивая кровь,
Дробясь, цепляясь за земное...
Как в зеркало мое ночное,
Я падаю в тебя, любовь.



1942 – 1962

.....

ШЕКСПИРУ



О гений Стратфордский, явись! Вернись
Туда, где Авон всё влачит туманы,
Где прежнего величья мужи полны,
И строгости, и мудрости седой,
И где не ждут тебя, как и не ждали
В шестнадцатом столетье. В мир шагни
В брабантских кружевах, в камзоле старом,
В ботфортах, стоптанных на всех подмостках,
Ты некогда был королей любимцем,
Шутом и богом дикарей вельможных.
Три ведьмы шепчут, шепчут и прядут.
Тобой рожденные, тебя вернуть
Пытаются в тот грозный час, когда
Бирманский лес идет на Донзинан,
И зыблются Полесские болота,
И радуга над Волгою повисла,
И где-то между Ильменем и Доном
Владыка мира смотрит в очи року.

Они легли, миллионы, легионы,
С костями еще татарскими мешаясь,
С литовскими, французскими костями,
Там, где когда-то — Куликово поле,
Полтавская широкая равнина,
Там, где когда-то над Невой в Европу
Сверкнул очами первый император.
Они легли и более не встанут.
Им сладко спать в объятьях половецких,
Им хорошо с полками Гедимины,
Со старой гвардией Наполеона,
Над ними зашумит — о скоро, скоро,
Российский хлеб...

Но тот, кто век потряс,
Тот без тебя окончить жизнь не может.

О гений Стратфордский, сойди к нему,
Введи его в твой сонм судеб ужасных
И научи последнему призванью!
Три ведьмы шепчут, шепчут и прядут.
Нить так тонка, а шепот так невнятен:
То Курский лес шумит вокруг тирана
И гнет дубы, а пряжа все бежит.
Не спится ночью во дворце ампирном,
Построенном еще при Александре,
Здесь варвар жил в усах и орденах,
Здесь в восемнадцатом году пытали,
А в тридцать первом строили больницу.
Теперь паркеты мохом поросли,
Со стен штофных еще глядят портреты
Красавиц с азиатскими глазами.
А лес шумит.

И вот выходит он
В ненастье русское послушать бурю:
Или старухи нож дадут ему?
Иль подведут его под нож другого?
Или умчат его отсель в изгнание?
Иль в клетке повезут в Париж развратный
Как зверя? Нить из темноты во тьму
Бежит, и век двадцатый нам невнятен:
Трагедия сердец не потрясает,
Поэзия, как мертвая орлица,
Лежит во прахе, музыка молчит,
Любовь не жжет, и мысль оскудевает.
Лишь кровь течет. Есть кровь. Мы все в крови.
Вода в крови, земля в крови, и воздух
В крови. И тот, убоины не евший
Всю жизнь, как мы, стоит по грудь в крови.
О гений Стратфордский, о дух могучий,
Ты кровь любил, приди же, помоги
Скорей закончить этот путь кровавый!

•••••

Париж, 1942

РАЗЛУКА



Разлука похожа на страшную сказку:
Она начинается ночью,
Ей нету конца.
Однажды июльской ночью
Стучали копытами кони,
Кричали бессонные дети,
Петух надрывался рассветом.
Однажды: в полнеба пожары,
И вьется за пылью дорога,
И ты уезжаешь. Разлука
Похожа на страшную сказку:
Когда уезжают за море —
Ей нету конца.

Разлука похожа на скрежет полночный
Ночных поездов. Исчезают
Навеки в тюремных провалах,
В глухих ледниках Бухенвальда,
В тифозном огне Равенсбрука.
Я помню, как ты отрывалась
От милого мира,
Я помню, как ты улыбалась,
Как ты всё крестила
Меня, и зеленое небо,
И город, и встречных...
Разлука похожа на грохот
По сердцу — колес.

Разлука похожа на длинную песню,
Что кто-то кому-то поет:
О долгой осаде столицы,
О том, как кольцом окружили,
Как били из пушек
По памятникам и дворцам,

По острову, по ледяному.
А там,
У самого синего моря,
Жил старик со своею старухой...
(Бывало, мне мать вытирала
Глаза кружевами.)
Разлука похожа на долгую песню,
В которой нет встреч.

.....

1945

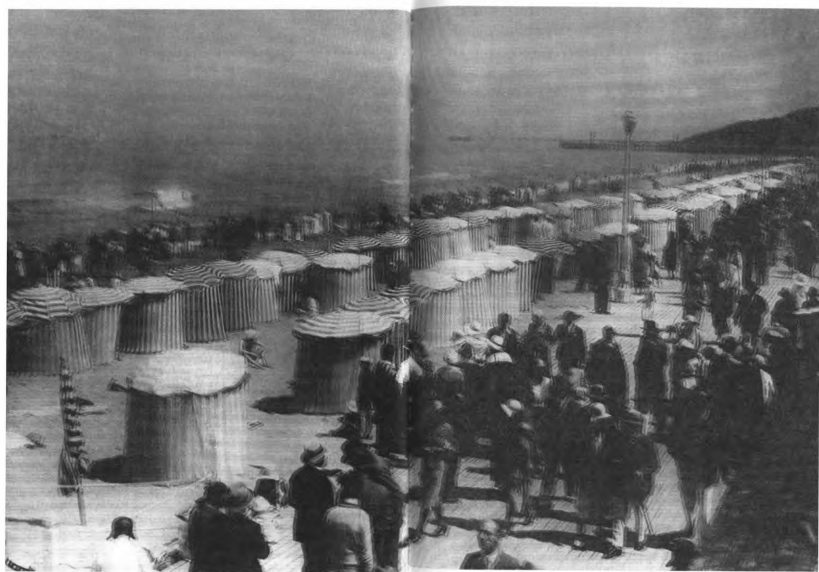


Колясочки. Собачки. Тишина.
Воскресный воздух города большого.
Весна, весна, опять и вновь весна
В деревьях сада городского.

И лирный голос: “Смертью смерть поправ”.
Мне все равно, кто прав и кто не прав,
Моя любовь укрыться хочет
В дрожании твоих ресниц
И в пении весенних птиц.
Моя любовь боится ночи.



1947



БЕЛАЯ НОЧЬ



Часы остановились.
Весы стоят. И ночь светлее дня.
Нет больше времени. Из моря и огня
Недвижно зарево зари. Молчанье
Вдоль этих берегов стоит, как тишина.
Нет больше времени. Висит луна
В небесном зеркале. И воздух ясен
И неподвижен. И весы стоят.
Нет груза лет, нет груза страшных бед,
И чайки улетают в поднебесье.
И равновесие. О, страшно равновесье,
Бесстрастье страшно сердцу моему.



Хеммарё, 1948



Мне часто снится город
 Похожий на Антверпен,
 На Гётеборг похожий.
 С холмов бежит трамвай
 По шумному бульвару,
 В порту стоит корабль,
 И музыка играет
 В нарядном ресторане.

Я медленно вхожу
 В какой-то кабачок
 Под вывескою синей;
 Два человека бойко
 Играют на бильярде.
 Здесь пахнет пивом, рыбой,
 И кое-кто танцует
 Под звуки граммофона.

А на стене висит
 Портрет дагерротипный:
 Усатый и надменный
 Изображен моряк.
 Должно быть, дальних стран
 Отважный посетитель —
 На нем сюртук и орден,
 И пышной лавальеры
 Уже столетний бант.

Спускается туман,
 Кончается веселье,
 И смотрит капитан
 На тихое похмелье.

Стучит бильярдный шар
И попадает в лузу,
Склоняется душа
К таинственному грузу.
Откуда и куда
Везли его по морю?
Поможет он едва
Хроническому горю.

Я выхожу. Всё так,
Как я любила это:
Далекий мол, и мрак,
И блеск ночного света.
Остаться здесь, всегда
Неузнанной, свободной...
Корабль уходит вдаль,
И плещется вода.

Сегодня снова снился
Похожий на Антверпен,
На Гётеборг похожий,
Давно знакомый город.
О, как спешила я
В приморский кабачок,
Где два матроса бойко
Играют на бильярде.

И я спросила их:
Кто этот важный, толстый
На стенке капитан?
Быть может, я... Но нет:
Он был бездетен, холост
И умер далеко,
Потомства не оставив.
А если были жены,
А если были дети,

То где-нибудь совсем
В невероятных странах,
Которые не снятся,
Которых больше нет.

В каком-нибудь порту,
Название изменившем,
В каком-нибудь углу
Вселенной, потонувшем...

.....

.....

1949

ДРАКОН



У зубного врача
Крокодил и лисица
В скучной приемной,
А на стенке дракон,
Золотой и огромный,
У зубного врача.

Крокодилу лет сто,
Лисице — под сорок,
А дракону — тысяча лет.
В пыльной приемной,
Где люди ждут,
Электрический свет.

Крокодила привез
С верховьев Нила
Веселый дедушка.
Лисицу убил
На охоте в Арденнах
Веселый папа.

Сам зубной врач
Между первой войной и второй войной
Был в Китае,
От скуки ездил в Ханой и Шанхай
И купил дракона в Шанхае.

Между второй войной и третьей войной
Он теперь лечит зубы.
Ему улыбаются со всех сторон
В кабинете искусственные зубы.

Между третьей войной и четвертой войной
Его, наверное, уже не будет.
Между четвертой войной и пятой войной
Кто-то его забудет.

В скучной приемной
Зимю холодно,
И лисица укрыла
Однажды ночью
Пушистым хвостом крокодила.

У них у обоих одинаковые
Внутри опилки,
А дракон на стене всегда один,
Он зол и стар. Он думает:
Где-то я буду висеть
Между шестой войной и седьмой войной?
И отчего это люди так страшно кричат,
Когда так просто терпеть?

.....

1950



Последний поэт России:
Голова седая в крови.
Дайте рюмку, — прочтет стихи и
О прошлом поговорит.

Как в тринадцатом... Жизнь струилась
Между пальцами слабых рук,
И кабацкая тень носилась
Меж влюбленных в него подруг.

Как в тринадцатом, в последнем,
В незабвенном, вольном году,
Он у Блока сидел в передней,
У Волошина спал в саду.

(“Я виском ударился в жизни,
Что-то острое было в ней,
И на пьяную морду как брызнет,
И не сплю уже сколько ночей!”)

Кладбище, тюрьма, лазарет ли, —
Конец уже виден его.
Сейчас — полумертвый и светлый,
Он ходит себе, ничего!

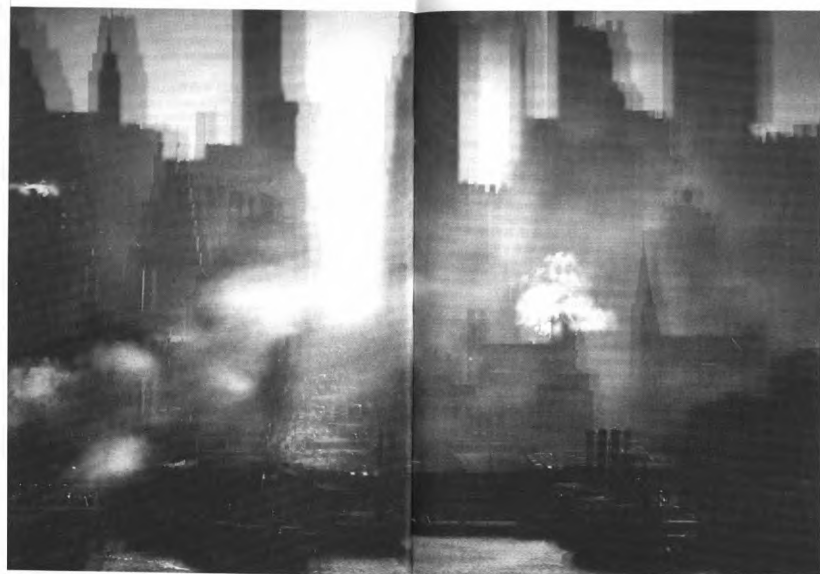
Знакомится, шаркает ножкой:
— Последний России поэт!
Познакомьтесь ближе немножко,
Он скажет: России нет.

Вы подайте ему, не стыдитесь,
Посмотрите ему в глаза,
Не чурайтесь и не креститесь,
Все равно приснится не раз.

Поцелуйте же те ступени,
Где ходила его нога,
Обнимите его колени, —
Никогда. Никогда. Никогда.



1950





Две девочки — одна с косою тугой,
Другая — стриженная после кори,
Идут аллеей, за руки держась.
Кто эти девочки? Садится солнце,
И нежно плачут жаворонки в небе,
В аллее тень, и камень бел и сух.
Кто эти девочки? То ты, быть может,
И я, и вместе нам идти легко.
Дом далеко, а рай почти что рядом,
Оттуда к нам идут навстречу двое:
Мой старший брат, мой давний друг, товарищ
Ушедших юных лет, и твой отец.
Они теперь нас больше не покинут,
Они ото всего нас оградят,
А эта жизнь, и всё, что прежде было,
И что теперь, и то еще, что будет,
Давай всё это правдой не считать:
Мы так прошли с тобой по той аллее,
Рука с рукой. Ты стрижена, как мальчик,
А у меня коса. Нам десять лет,
И вечным миром приняло нас небо.



1950

ПАМЯТИ З. Н. ГИППИУС



Я десять лет не открывала старой
Коробки с письмами ее. Сегодня
Я крышку подняла. Рукою тонкой
Вот эти бледные листы она
Когда-то исписала мне на радость.
Там бабочка случайная дремала,
Среди стихов, среди забытых слов,
Быть может, пять, быть может, десять лет...
И вдруг, раскрыв оранжевые крылья
(Напомнив рыжеватость тех волос),
Она из тьмы ушедших лет вспорхнула
И в солнце унеслась через окно,
В лучистый день, в лазурное сегодня.
Как будто камень отвалила я
У входа в гроб давно глубоко спящей.



1950

КАРИБСКОЕ МОРЕ



Здесь начинается Гольфштром
От зарева и от закатов.
Мне говорил о нем Муратов,
Когда мы в Риме шли вдвоем.

Там начинается Памир,
Памир рассыпал нас по миру.
Не возвращались мы к Памиру, —
Милее сердцу был Гольфштром.

Он вещей силой нас питал,
Он дал сознание нам когда-то.
От зарева и от заката
С тех пор наш разум запылал.

Вглядись в него. Как чуден он!
Не символ ли его стихия?
Смотришь, смотришь в него, Россия,
И возродишь из тьмы времен.

Проконсул или триумвир —
К Памиру больше нет возврата,
И всё равно — в огне заката —
Кто держит в тяжких лапах мир.

...Был римский полдень так богат,
Так полон всем, что есть и было,
Что я доселе не забыла
Тот разговор, тот римский сад

С Нептуном мраморным у входа,
Пришедшим в мир из глуби вод, —
Вот этих вод, чей грозный ход
Несет тебя в мой край, Свобода.

.....

1956



Ребенок маленький лепечет
О том, что больше Бога нет,
И люди говорят при встрече:
— Кто выдать мог ему секрет?

Секрет прополз в воображение,
Секрет прокрался в сладкий сон,
Оттуда не исчезнет он,
От сна не будет пробужденья.

К чему кошунственный намек?
Храните лучше тайны ваши!
Ведь от Моления о Чаше
Еще остался черепок.



1956



Шумели деревья. Шатался гуляка.
— От рака? От сердца? От сердца? От рака?

Повисла подруга на слабой руке
И плачет, сама в безысходной тоске.

Шумели деревья, как будто старались
С земли оторваться, сорваться, умчаться,

И всё бормотания их раздавались:
— Пора расставаться. Боюсь расставаться.

И ночь наступала. И нового мрака
Несли утешение тучи большие.

— От рака? От сердца? От сердца? От рака?
О, шепот влюбленных! О, слезы людские!



1956



Кассир спросил: “Туда и обратно?”
— Только туда. В путь безвозвратный.
Не возвращаются никогда
Туда, откуда гонит беда.
Кассир удивлен: умрет, где родился.
Над ним возлюбленный смерч не носился,
Над ним не сверкала наша гроза,
И только мимо шли поезда.
Прощай, кассир! Спасибо за дело,
За дальний билет, за звонкую мелочь,
За обещанье счастливых дней
И за мерцанье вокзальных огней.
Кажется, это когда-то уж было:
Дама сказала, что зонтик забыла,
Рвался ребенок из чьих-то рук,
И приближался к окошку друг:
— Хотела бы ты вернуться обратно?
Куда? Мне некуда. Всё — безвозвратно.
И только в памяти свист голосов:
Адресов, адресов, адресов, адресов.



1956

.....

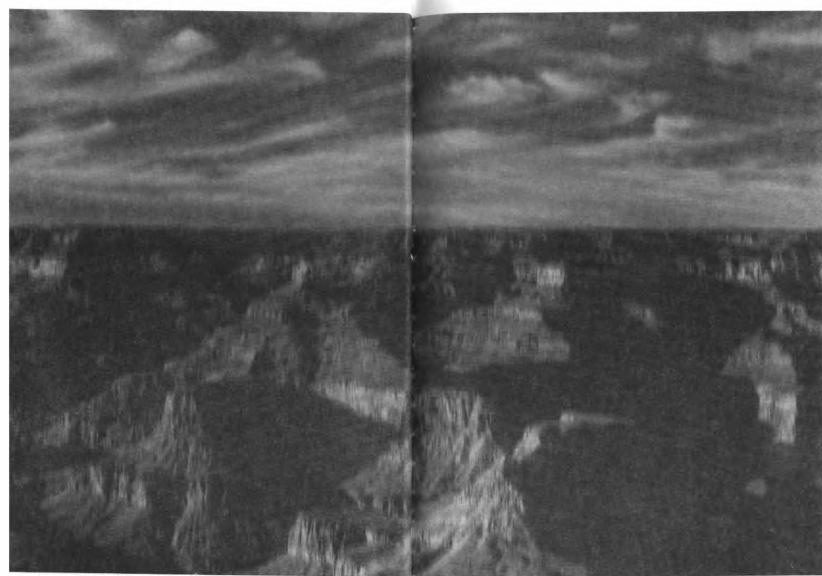
Часы в столовой к ночи стали,
И гости допили вино.
Он говорил, а мы молчали
И смирно слушали его.

Он говорил, что плох Шекспир,
Что скучны Баха бормотанья,
Что жаждет оглушенный мир
Четырехстопного молчанья.

Он был по-своему поэт,
И новой эры возникало
Неотвратимое начало
На тысячу иль больше лет.

.....

1956



ЛУНА



Луна хотела высказаться ночью
На солнечных часах, но не смогла.
Она старалась долго,
Она и так и сяк пыталась
Дать знать о том, что было на уме,
В большом серебряном мозгу,
Но зря:
Стрела не отклонилась,
Тень не легла.

И долго сад следил, оцепенев,
И с ужасом цветы смотрели
На эту муку.
И больше — миллионы лет —
Луна не пробовала выразаться.



1959



Это было в те времена,
Когда наши отцы,
Между едой и сном,
Развлекались мечтой о бессмертии.
Они давно прошли в рай
Через верблюжье ушко
И там теперь, на иголках,
Сидят и ждут нас.

В те времена
Люди ходили в гости,
И за чайный стол иногда
Садилась одетая по моде,
Молодящаяся особа.
Она много и громко говорила
И гадала на кофейной гуще.
Мужчины снисходительно слушали ее,
А женщины — некрасивые и ревнивые —
Считали, что она много жестикулирует,
Повторяет одно и то же
И выпивает лишнее.

Хозяйские дети,
Пока их не уводили спать,
Стояли в дверях и смотрели
На ее шляпу с траурными перьями,
На ее узкую руку в кольцах,
На ее фальшивые жемчуга
И синие, синие очи.

Где-то она теперь, богиня и пророчица.
Осмеянная, забытая?
И кому и какими древними поверьями
Еще веют ее упругие шелка?



1959

Я ОСТАЮСЬ



Я остаюсь с недосказавшими,
С недопевшими, с недоигравшими,
С недописавшими. В тайном обществе,
В тихом сообществе недоуспевших,
Которые жили в листах шелестевших
И шепотом нынче говорят.
Хоть в юности нас и предупреждали,
Но мы другой судьбы не хотели,
И, в общем, не так уже было скверно;
И даже бывает — нам верят на́ слово
Дохохотавшие, доплясавшие.

Мы не удались, как не удалось многое,
Например — вся мировая история
И, как я слышала, сама вселенная.
Но как мы шуршали, носясь по ветру!
О чем? Да разве это существенно?
Багаж давно украли на станции
(Так нам сказали), и книги сожгли
(Так нас учили), река обмелела,
Вырублен лес, и дом сгорел,
И затянулся чертополохом
Могильный холм (так нам писали),
А старый сторож давно не у дел.

Не отрывайте формы от содержания,
И позвольте еще сказать на прощание,
Что мы примирились с нашей судьбой,
А вы продолжайте бодрым маршем
Шагать повзводно, козыря старшим.



1959

ПОРА СПАТЬ



Наши отцы лежат в гробах,
Матерей в богадельнях кормят с ложечки.
Мы последние,
Мы на очереди,
Не в далекое путешествие,
А в ближайшее *ничто*.
(Приголубьте нас!
Не забудьте нас!)

Если хотите знать с научной точностью,
Кто мы такие,
Нынче вечером взгляните на звездочку
(В энциклопедическом словаре)
И там вы найдете подстрочное примечание
О бессрочных нас.

За нами не надо посылать,
Мы уходим сами.
Уже поздно. Поздно. Очень поздно.
Русским детям пора ложиться спать.



1959

СТРЕКОЗА



Проходит девочка,
Она похожа на стрекозу.
Я сама когда-то была похожа
На эту девочку.

Мир был моложе,
Было много стрекоз кругом и цветов.
Возможно ли это? Возможно.
Но нету слов.

Мне говорят: теперь все то же.
История топчется, и мы топчем сады.
И если мир был моложе,
Мы сами были молоды...

Проходите, мальчики и девочки,
Идите, куда глаза глядят!
Я сама тоже была похожа
На стрекозу.
Я сама тоже была.



1959





Есть нити, есть сети,
Есть тяжести счастья,
Чугунные узы, —
Но я ухожу, не оставив узлов.
Оковы ношу, как запястья,
И тернии — как тиару,
И все оскорбленья, обиды и боли
На шее цыганки монистом звенят.

Друзьям моим милым
Дано долголетье,
Врагам — только день. И — нет дня!
Меня бы сожгли
Фердинанды, Карлы, Филиппы.
Смотрите: я выросла в парку,
А была я
Обыкновенною ведьмой,
Когда вы знали меня.

Есть сети, есть цепи,
Всё есть у колодников счастья,
Прикованных к миру,
Закованных в мир.
Гремят кандалы слаще звуков Моцарта,
Железа горят изумрудами,
Гвоздь в ладони — сапфир.

Есть искры, есть молнии,
Огненный ток наших прихотей,
Костры вожделений, пожары желаний,
И тайный закон.
Но легки мне чугунные узы,
И час расставаний,
И ночи сомнений,
И призрак, тревожащий сон.



.....

Ни о вазе. Ни о розе в вазе:
Запретили. Нельзя!
Постановили единогласно,
И я сама голосовала “за”.

А что ж о черепках? Забыли?
Разбили вазу,
Цветок сломали,
А черепок?
О нем-то есть постановление?
— Конечно, запретили тоже,
И я сама голосовала “за”.
(Читатель, я тогда моложе...)

Как жаль! А то по черепку восстановить бы вазу,
А там, глядишь, в горшке знакомом
Репейник бы зацвел опять, —
Наперекор, читатель, и тому,
И этому. Наперекор всему,
Наперекор голосованью моему
И тем, кто любит запрещать.

Что делать нам с запретным сим репьем?
Куда его? Куда прикажете девать
Посудину? Опять разбить? Зарыть?
Закинуть за три моря?
(Морей у нас кругом не перечсть.)

— Забыть об этом безобразии!
Но кто-то есть, кто ждет осколок:
Он по нему восстановит
Меня, —
Наперекор всему,
Наперекор желанью моему,
Наперекор и вашим, и моим голосованьям.

.....

1961

ПЕРЕДАЧА НА ТУ СТОРОНУ



Дети мои, внуки мои,
Черные жемчужины!
Дедов не знали, отцов потеряли, —
Сироты!
“Сердитые” и молодые,
Бородатые, “битые” и смешные,
Редкие,
Как синие алмазы,
Как черные жемчужины.
Родина вам — чужбина
(А мне чужбина — родина),
Вы — родинки России,
Благородства признаки,
Никем не признанные.
Не богатые, не славные,
В списки не занесенные,
Дачами не пожалованные.

Говорю с вами и только вам:
Двадцатый век над нами
Летит облаками.
Вы двадцать первый увидите,
А я — нет.
Вы *закат кровавый* увидите,
А я видала рассвет.

Вы — поэты, и я поэт.
Не разговор у нас — монолог,
Но вы меня слышите.
Спасибо за то, что вы дышите,
Что обо мне спросили,
По имени назвали,
Сказали и замолчали.

Я ваши четыре слова
Повторяю снова и снова,
Я ваше молчание
Уношу в бессонницы.
Я никогда не молюсь,
Я никого не боюсь,
Я ни о чем не плачу.



1965 – 1983

.....

.....

Мне снилось: мы были с тобою в раю
(Там лев обнимался с ягненком),
Но кто-то нагнулся ко мне,
Прикоснулся ко мне,
И сказал мне тихонько:
— Вставай!
Уходит твой поезд,
Гудит пароход,
Самолет запускает мотор,
Пора тебе в черный простор
Из райских зверинцев
(Где лев обнимался с ягненком),
Пора тебе в лед
И в огонь.

.....

1965

ИЗ СТИХОВ О ПРОШЛОМ



Какой сухой и душный летний день!
Какая пыль над Петербургом висла!
Торцы меняли на Морской. Стоял
Ужасный грохот. Мать хотела сына,
Отец хотел не сына, нет, но дочь.

Был ранний час и в Дублине еще
Никто не просыпался в старом доме
И не скрипел пером в углу своем,
А в Вене собрались уже студенты
Галдя, сморкаясь, споря и куря;
И в доме у реки, в другой столице,
Лохматый, с выпученными глазами,
Смотрел весь день на формулу свою,
Готова век к таким переворотам,
Которые не снились, друг Горацьо,
Ни нашим мудрецам, ни тем фантастам,
Которые...

Уж если семь часов
Кричать и выть от боли, то уж лучше
Пусть будет мальчик! День и ночь Морская
Кипящим дегтем пахла из котлов,
И этот запах я теперь люблю.

Я в мир вошла, мать разорвав на части,
Пока Монэ писал свои соборы,
И Малер сочинял свою шестую.
Я грызла грудь ее потом до крови,
Я не давала спать ей шесть недель
Немолчным криком в жарком Петербурге.
И плакала она тогда ночами
От слабости, от боли и от страха,
Что я не буду на нее похожа.

(И я могу сказать, что оказалась
Она права). Но веселился рядом
Отец, что вышло по его хотенью,
И говорил, что если я ору,
То откричусь заранее и после
Уже не буду плакать никогда.
(Он в этом оказался тоже прав.)

И оба правотой своей гордились
До самой смерти. До тех пор, когда
Все там же, в том же старом Петербурге
(Но в ледяном сорок втором году)
Они замерзли вместе черной ночью.

.....

1967

ИЗ СТИХОВ О НАСТОЯЩЕМ



Опять, третий раз в столетие, полмира не спит:
Ждет. Слушает. Молчит.

Дрожит.

— Растворимся со вздохом?

— Распадемся с грохотом?

(вместе с Моцартами, закатами,
восходами и свободами).

Люди, вы не угадали будущего,

Вы не узнали своих пророков

двадцатых, тридцатых, сороковых годов.

И никто не готов!

Вы уснули, и никто не разбудит вас,

Никто не воскреснет под трубный глас,

Никто не дождется сроков.

Пепел по ветру будет стелиться,

Пепел скроет людские лица,

Будет в вас, впереди и за вами,

Будет в вас и над вами.

А где же ваши поэты?

Они ждут. Слушают.

Дрожат.

Не призывают гуннов?

Не приветствуют варваров?

Говорят: в самом длинном из всех столетий

У нас не хватает междометий.



1973

ДЕТСКАЯ ПЕСЕНКА О ПТИЦАХ



Соловей на ветке,
Соловей в клетке
(дети поймали и теперь он там сидит)
Через тысячу лет —
Разницы нет.

Ласточка под облаками,
Ласточка в помойной яме
(она упала туда и захлебнулась в помоях)
Через тысячу лет —
Разницы нет.

Жаворонок в небе,
Жаворонок, запеченный в хлебе
(и политый сметанным соусом),
Через тысячу лет —
Разницы нет.

Гений на эстраде, в зале,
Гений на лесоповале
(Сталин послал его туда, — помнишь?)
Через тысячу лет —
Разницы нет.

Мы всё это вместе сложили
И тысячу лет прожили.



1974



ВЕТРЕНАЯ ГЕБА

*Всё должно быть немного не в фокусе,
Говоря как бы: На-ко-ся, выкуси!*

.....

I

Я проливаю кубок громкий
Из туч и молний на авось:
Пусть ваши ведают потомки
(Своих иметь не довелось),

Что лучше быть знакомой Зевса,
Чем из толпы смотреть парад.
Как я была не рада Марксу,
Не будет рад мне самиздат.

Мой друг явиться отказался
На приглашение богов,
Он кажется больным сказался
И ужинать у них не мог.

Меня туда не пригласили,
Я — разумеется — пошла,
И там, на ложе белых лилий,
Голосовала и спала,

И тайну чудную узнала
(Громокипящий их секрет),
Она вас удивит немало:
Бессмертья нет. Бессмертья нет.

.....

1975

.....

2

Раздался вдруг голодный клекот,
И я по облакам пошла
Не ангела, не человека
Кормить, — Зевесова орла.

Он не был Вороном поэта,
Он не юлил, как над прудом
Юлили Ласточки у Фета,
У Ходасевича потом;

Он не терзал воображенье,
Как Жаворонок (у меня),
Его ползучие движенья,
И глаз без мысли и огня,

И с причитаньем схожий клекот,
И дрожь подбитого крыла, —
Вот что от тютчевского века
Осталось у того орла!

Не расшифровывайте строчки,
Прочтите их. Они — мои.
И вам не надо ставить точки
На эти взвизгнувшие и.

.....

1975

.....

3

Учу язык глухонемых,
По воскресеньям, в ближней школе,
Чтоб с демонами говорить
И понимать их поневоле.

Экзамен сдан. Я выхожу.
В лазури солнышко садится.
А так хотелось бы узнать,
Что предсказали те зарницы!

И я сжимаю кулаки:
Кулак всегда мне пригодится.
Зачем мне знать язык зарницы?
Громов я знаю языки.

.....

1975

.....

4

Он говорил: “Я не могу,
Я начинаю жизнь сначала”.
А я сидела на полу,
Не верила, не возражала.

.....

1975

.....

5

Летит на солнце легкий пух
По воздуху, в зеленой роще.
Ты знаешь: мыслящий лопух —
Он тоже ропщет, тоже ропщет!

Когда души и моря нет,
Откуда быть морскому пеню?
А тростнику, ему сто лет,
И научился он смиренью.

Тот, у кого хороший слух,
Услышит шорохи и шелест
В овраге, там, где мох и вереск:
То ропщет мыслящий лопух.

.....

1975

.....

6

Книги в ящик уложились,
Платя в чемодан легли,
Тени сизые смешались,
Среди них — я тоже тень.

Выхожу я осторожно
Из рифмованной строки
В неизвестную свободу,
В этот предпоследний день.

Только вряд ли очень много
Мы отсюда унесем.
Не старайтесь, ради бога,
Всё во мне, и я во всем.

.....

1975

.....

7

Прошли верблюды сквозь ушко,
Попали в рай и успокоились,
А мы с тобой так далеко
Зайти ни разу не сподобились.

Ягненка волк поцеловал,
И укачал в своих объятиях.
Но (что бы ты ни говорил)
Ягненку ты не позавидовал.

Живем как можем, кое-как,
В перемонтированной башенке,
Покинуты на нас самих,
И как бывает ночью страшно нам.

.....

1975

.....

8

Открой, заговори, скажи,
Ответь, признайся и поведай,
Чтоб слово — камнем из пращи,
Самофракийскою Победой

Метнулось в мир из тьмы твоей.
Не смей молчать. Таить не смей.

Молчанью оправданья нет,
И, как художник выжал краску,
Так ты — прозаик и поэт —
Все слезы выжми на огласку,
Все скрепы настезь отпусти,
Вселенную оповести.

Но не отчетливою одой,
А бредом, криком и свободой
С наружным шумом пополам!
Найди себе освобожденье,
Другим позволь до пресыщенья
Питаться тайною твоей.
Не смей молчать. Скрывать не смей.

.....

1978

.....

9

На роковой стою очереди.
— Товарищ, становись иль проходи!
— А что дают: муку аль бумазею?
— На это я ответить не умею,
Но слышала, что керосин дают:
Не всех зарюют, избранных сожгут.
— Давно стоишь? Одна? А люди где же?
— Почем я знаю! Проходи, невежа.

.....

1979



Ю

Первое послание Н. Моршену

Ты в ночь бежал. Я в ночь бежал.
Ты думал о надзвездной Лире,
А я — о короле мечтал,
О потерявшем разум Лире.

И на окраинах земли,
Средь возвышающих обманов,
Мы что-то вместе сберегли
Меж двух огромных океанов.

И хорошо, что Скорпион
Тебе приходится патроном.
Мой Лев, о, как ощипан он!
Но полон золотом и звоном.

Тьмы низких истин отдаю,
И о Лукерье не жалею*,
Но дядю Тома я люблю**:
Готов повеситься на шею!

Elvoi

(Я сочиняю оттого,
Что мне полезны упражненья,
И нет приятней ничего
Американского общенья.)



1975

* Лукерья из "Живых мощей".

** Из "Хижины дяди Тома".

.....

II

Второе послание Н. Моршену

Вегетарьянцы, викторьянцы
Живут меж нами там и тут.
Эсперантисты, шахматисты,
Как мошки, в воздухе спуют.

А мы зачем? Какое дело
Вам до меня и мне — до вас?
А вот подите ж, в эту среду
Я повторяла целый час

Те памятные ваши строки,
Где вы сказали, что блажен,
Кто посетил сей мир в те сроки,
Когда он цел, но не совсем!

Мне говорят, что это Тютчев,
Но я на недругов плюю
И, словно ветреная Геба,
На вас бессмертья чашу лью.

О, риторические бредни
И стоп ямбических вино!
Пусть так, и зритель вы последний,
Но собеседник все равно!

.....

1975



Старушки кормят птиц
И кошечек ласкают,
А кошечки потом
Тех птиц за хвост таскают.

Не плачь о том, что мир
Не чёсан и не вымыт:
Он лучше остальных —
У тех ужасный климат.



1975

О БАБОЧКАХ И РЫБАХ



Если миллионы лет тому назад
Вы были аргэма мо́знас,
То я могла быть только лемóниас с́удиас,
В горах Тут-он,
В июньский вечер,
В кустах жасмина.

Но если вы были дактилоптерус волітанс,
Я, наверное, была плáтакс меланозóма,
В теплом море, у берегов Там-она,
В зеленом море, в подводный час.



1975



ПАМЯТИ ДЕРЖАВИНА



Жизнь, как турецкий, как персидский,
Тьмутараканский иль афганский
Ковер, за мной бежит, стелясь.
По нем уходят принц и нищий,
И рыболов, и птицелов,
И тот, кто говорил о Ницше,
И тот, кто обожал без слов.

А впереди другой ложится
Ковер, за горизонт стелясь:
Он красный, бархатный, роскошный,
Над ним натянут полог мощный,
И по обеим сторонам
Стоят торжественно и чудно
Гиганты в шапках изумрудных.
В руках мечи... бьет барабан...
Гремит музыка пред толпою,
И на восемнадцати щитах
Несут, несут врагам на страх
Листы, исписанные мною.



1975

ПЕРЕВОДЫ С БЕРБЕРСКОГО *

*ими тгит аганим, нг асиад, нгик
ини тгит туктт, нг нкки баб и иганим.*

.....

I

Если ты тростник, я рыбак и держусь за тебя,
Если ты крючок, я к тростнику прикрепляю тебя,
Если ты рыба, я крючок и хватаю тебя,
Если ты море, я лодка и скольжу по тебе,
Если ты дождь, я земля и пью тебя,
Если ты солнце, я туман и прячу тебя,
Если ты месяц, я туча и бегу по тебе,
Кем бы ты ни была, я иду в поединок с тобой
и побеждаю тебя.

.....

1975

.....

2

Давай посидим с тобой, как два леопарда.
Давай полежим с тобой, как два борца.
Давай постоим с тобой, как два аиста.
Давай полетим с тобой, как два орла.
Давай закричим с тобой от блаженства.
Давай помолчим с тобой от сомнений.
Давай уснем с тобой, как после ливня
Два бамбука засыпают, обнявшись влажно.

.....

1976

* С помощью французского подстрочника.

БЕРЛИНСКИЙ ЗООПАРК



I

Два лебедя, касаясь клювом клюва,
Фигурной скобки ловят очертанье,
И две руки в пожатье неслучайном
Двух ящериц объятье повторяют.

Но есть еще иные измерения,
Где леопард и зебра намекают
На золотые пятна нашей жизни,
На тишь и грусть забытых чресполосиц.



Берлин, июнь 1977



2

В зоологическом
Трагическом саду
Каждый второй — хромает с палкой,
Каждый пятый — сидит в колясочке,
Напевает немецкую песенку:

“Вы катитесь, колесики, по дороженькам,
Я давно сказал прости-прощай своим ноженькам,
С той поры, как лежал под Орлом
В сугробе голубом,
Тому тридцать лет и три года.

А зовут меня Илья Муромец,
Протезы у меня американские,
Челюсти — швейцарские,
Слуховой аппарат — французский,
А стеклянный глаз — английский.

Но память у меня русская:
Голубой сугроб
Да чужой сапог,
Но милостив Бог:
Не в висок, а в лоб”.

.....

Берлин, 1977

.....

3

Как лицо без носа,
Так нация без столицы.
Не задавайте вопроса,
Ответа не предвидится.

Раз-два-три,
Нос утри!

Бомбили долго.
Чтоб было прилично
И симметрично,
Оставили один дом на сто.

Этот стоит — черный, сквозной,
Внутри сыро и мрачно,
А кругом — коробки,
Розовые и голубые.

У другого отстрелили балкон,
От кариатиды осталось колено.
— Скажите, а хрящ удален?
— Почему рот зашит влево?

Морген фри,
Нос утри,
Отстрелили две ноздри!

.....
1977

.....
4

Из русского плена немецкие солдаты
Шли в страну Шиллера и Гёте.
Лица бородаты, лица грубоваты.
Стояло теплое лето.

Кому — значит — парад,
А кому — Сталинград,
А кому — в грудь снаряд.

Поди, воскресни, как воскрес твой Бог,
А хочешь — тресни, как старый горшок.
Это — начало песни.
Конец четвертой весне.
Пора тебе жить, как все:
Видеть Париж во сне.

Одному — значит — Париж,
А другому — Камень-Давишь,
А третьего — с шинелью в лоскутья.
Четвертый — пришел назад,
А пятый — и жизни не рад
С разорванной грудью.

Кому выходит — парад,
А кому — Сталинград,
А кому — Шиллер и Гёте.



1977

.....

Затерялся мальчик в Америке,
А уж как хотел добежать!
Был он тоненький, был он беленький,
Не умел ни пить, ни врать.

Вы скажите мне, люди добрые,
Где найти его, где найти?
Документики были собраны,
Он в Чикаго, сказал, летит.

Но Чикаго — страна огромная,
И он мог забыть адресок.
Может, косточка в драке сломана,
И в больнице лежит голубок?

Или после ночной поножовщины
Он наказан теперь судом?
Ведь тюрьма — это дело всеобщее,
А оттуда везут на слом.

Где найти его, люди милые?
Паспорт был у него продлен,
Проживал он у нас без фамилии,
А по имени был — Владлен.

.....
1977

ГУВЕРОВСКИЙ АРХИВ,
КАЛИФОРНИЯ



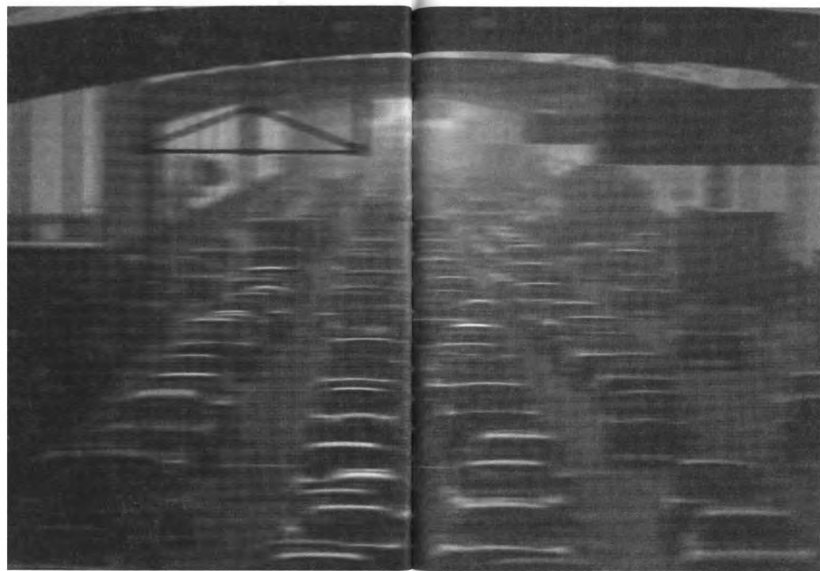
С пожелтых страниц поднималась ушедшая жизнь,
Уходила во тьму, бормоча и рыдая.
Ты поденщиком был, ты наемником был, и рабом,
И я шла за тобою, доверчивая, молодая.

Раздавили тебя. Раздробили узоры костей.
Надорвали рисунок твоих кружевных сухожилий
И, собрав, что могли, из почти невесомых частей,
В легкий гроб, в мягкий мох уложили.

Перед тем, как уйти, эти тени ласкают меня,
И кидаются снова и снова на грудь и на шею,
Обнимают, и молят, и ищут ушедшего дня,
Но ответить я им и утешить я их не умею.



1978



ВЕНЕЦИЯ

*Что остается делать твоим сынам,
Если я, странник Севера, плачу по тебе?*

Байрон.

.....

Она была белая и золотая,
Жемчужная, она казалась мне вечной,
А теперь она стала черно-серой,
В трещинах стоит ее мрамор.

Ранена плоть ее. Сломана стать.
Провалился мозаичный пол Сан-Марко.
Только у Флориана подают опять
Лимон к мороженому, когда жарко.

Я ходила по улицам. Как много мест,
Где я жила. Я их не забыла.
Одно заколочено, другого нет,
На третьем — крест, чья-то могила.

И вдруг ударили колокола,
И голуби шумно взвились над нами,
Но никто не сошел с золотого крыльца
В жемчужную, белую, вечную память.

.....

1983

.....

Орлы и бабочки (и кое-что другое)
Еще живут. Оставим их в покое.
И облака. Их тоже не тревожь.
Пусть будут ты да я, два зонтика и дождь.
А если всё сломать, то ничего не будет,
И так уж многое внутри сломали люди.

.....

1983

ИЗ БАЙРОНА



Все было явно в свете дня —
Была любовь.
Теперь есть тайна у меня:
Не надо слов.
Та жизнь была, как водопад,
Теперь — ручей,
Ему внимает тихий сад
В тиши ночей.

Бормочем оба мы в ночи
Наперебой,
Ручей мне шепчет: помолчи
Сама с собой.
И я молчу. Не надо слов,
И нету слов.
Yet though I cannot be beloved
Still let me love.



1983

ПРЕДСМЕРТНЫЙ ДИАЛОГ

.....

— Когда-то ты билет вернуть
С поклоном собирался Богу,
Но мы возьмем его в дорогу:
Он может сократить нам путь.

— Но если правда Аушвиц был,
И был Гулаг и Хиросима,
Не говори: пройдемте мимо!
Не говори: я все забыл!
Не притворяйся: *ты там был!*

— И вот проходим мы незримо
Мимо окошка, мимо, мимо
Той кассы, где лежит секрет.

— Там некому вернуть билет.

.....

1983

Берберова (1901–2001)

.....

Я думал, что она доживет до своего столетия, и в день ее рождения в 1985 году, в Кембридже, в гостях у нашего общего знакомого J.M., я так и сказал ей. Это ее, кажется, огорчило: ей хотелось бы жить, как в бальмонттовской “Странной песне араба”, “ну хоть тысячу лет, ну хоть сто”, — сто в самом худшем случае. Смерти она не боялась, но очень любила жизнь и умерла, достигнув в России и во Франции той славы, о которой никогда не говорила и не писала, хотя мечтала всю жизнь.

Ахматова пишет в “Северных элегиях” про мемориальные доски: “Темнеет жесткий и прямой Литейный, / Еще не опозоренный модерном, / И визави меня живут — Некрасов / И Салтыков... Обоим по доске / Мемориальной. О, как было б страшно / Им видеть эти доски!..”

Вот уж кого бы не испугала мемориальная доска на доме №6 по улице Жуковского в Петербурге, так это Нину Николаевну, видевшую во сне возвращение эмигрантских гробов в Россию. Семья Берберовых жила в 1914–1918 гг. окна в окна с квартирою Бриков.

Во втором издании книги “Курсив мой” (1983), среди двенадцати выдержек из читательских откликов на первое русскоязычное издание (Мюнхен, 1973), сразу вслед за Л. Ю. Брик напечатан отрывок из моего письма с пояснением в скобках: “Письмо читателя книги в английском переводе (вышедшем в 1969 г., за три года до русского оригинала), выехавшего из Советского Союза за десять лет перед этим”. На самом деле, я покинул СССР навсегда за 16 лет перед этим, и возраст мой она тоже перепутала, прибавив мне два года. Тут я вижу забавное совпадение: когда Р. Б. Гуль тиснул грубую рецензию на первое издание “Курсива”, мне кажется, больше всего в пасквиль-

ной статейке ее обидел намек на то, что она родилась якобы не в 1901, а в 1899 г. Ее чувствительность на этот счет не была урядной женской слабостью. Однажды она закричала на меня: “Не смейте меня называть современницей Ходасевича, я была моложе его на 15 лет! — Я ведь сказал — “современницей”, а не “сверстницей”. — Не в этом дело!”

Дело, очевидно, заключалось в том, что Ходасевич был для нее человек XIX века, а она считала себя — да и была — человеком XX века во всем: и в дурном, и в хорошем.

Хороша в ней была вечная молодость, вечная любовь к новому в науке, в искусстве и в жизни, и вечная женственность, и вечная готовность ответить ударом на удар, и умение, когда надо, помочь друзьям и принять от них помощь. “Хорошо иметь врагов, полирует кровь!” — говорила она.

Во время истории с Гулем Н.Н. попросила у меня совета. Она тогда готовила послесловие к первому, мюнхенскому изданию “Курсива”, не включенное во второе, нью-йоркское издание, потому что ответ критикам показался ей, вечной оптимистке, больше не актуальным. У меня на случай сохранились две машинописные версии этой антикритики, обе помечены “6 февраля 1971 г., Принстон, США”. На одной в уголку карандашная надпись наискосок: “Напишите мне письмо. НБ”. Другая редакция послесловия, которую я получил месяц спустя после первой, содержит значительные поправки и дополнения. Надписано на ней так: “Имре! Оцените конец. Спасибо за совет. НБ”. Вероятно, в архиве Н.Н. найдется мое письмо к ней с цитатой из фельетона “Отдайте ему курсив” Ильфа и Петрова и с выдержками из повести “Жизнь на фукса”. Ниже привожу для будущих текстологов и биографов Н.Н. выдержки из новой версии ее послесловия, сохраняя особенности подлинника и выделяя (опять-таки курсивом) то, что она вставила в первоначальный текст на основании моего письма:

“[Гуль] возмущен, что я, в одном своем стихотворении, сравнила Гитлера с одним из Шекспировских героев! Действительно, в моем стихотворении “Шекспиру” (1942 г.), где Гитлер конечно не назван по имени, есть параллель между ним и Макбетом, так же, как в этой моей книге есть параллель между Сталиным и персидским царем Камбизом. Это мое стихотворение в трех

версиях ходило по рукам в 1942–44 гг. в Париже. И Гуль жалеет, что оно до сих пор не напечатано: он намекает, что я скрываю его, т. к. Гитлер в нем мною “воспет”. И вот тут-то я и принуждена осторожно спустить Гуля в юдоль нашей земной действительности, с которой он, видимо, потерял контакт: стихи мои под названием “Шекспиру” были напечатаны в те времена, когда покойный М. М. Карпович и сам Гуль печатали меня в своем журнале. Эти стихи можно прочесть в Антологии, вышедшей в Изд. им. Чехова, в Нью-Йорке, в 1953 г., под редакцией Ю. П. Иваска, на стр. 99.

Не полезно было бы Гулю иногда освежать свою ослабевшую память чтением переписки Горького с Груздевым, копий собственных писем к сотрудникам его журнала, антологий русской поэзии, а также одного, теперь забытого (Гулем, но не другими) романа из жизни эмиграции, “Жизнь на фукса” (Госиздат. Москва. 1927), — не говоря уже о трагедиях Шекспира, — прежде чем пускаться на инсинуации, доносы и подлоги?

В заключение — два слова о приговоре Гуля моему названию “Курсив мой”. Оказывается, оно уже было использовано когда-то Ильфом и Петровым. Типично для передергивания Гуля: название их рассказа “Отдайте ему курсив!”, но Гуль сообщает своим читателям, что оно идентично с моим. Этим шулерским приемом он пользуется несколько раз, например, когда цитирует меня: “Я любила победителей больше побежденных”, и опускает конец фразы: “Теперь не люблю ни тех, ни других” (1941 г. — Sic). Но почему, если у нас есть три “Войны и мира” и два “Василия Теркина”, не может быть двух “Курсивов”? Особенно, если принять во внимание, что фраза в рассказе Ильфа и Петрова говорится не писателю, а дураку-критику, которого, как всякого критика, по словам авторов рассказа, «хорошо вешать на цветущих акациях».

Должен здесь заметить, чтобы дальше не возвращаться к этому вопросу, что ряд современников обвинял Берберову в прогитлеровских симпатиях и в неблагоприятном поведении при немецкой оккупации. Г. П. Струве говорил мне, что ей не без причины обрили голову (о чем сама она молчит, лишь намекая на это фантазмагорическим обвиняком, в “Курсиве”). Некоторых читателей журнальной версии этого очерка мои слова озадачили. Я должен поэтому пояснить, что имею в виду сцену, когда

Н. Н. лежит в сарае, связанная ее негодяем-соседом, и ожидает казни наутро. Ее освобождают жандармы, она бежит с мужем в соседний городок и наблюдает там издевательства толпы над голой и обритой молоденькой девушкой. Кто видел фильм "Hiroshima mon amour" знает, каковы были эти французские самосуды, когда трусливая чернь, в 1939 году не желавшая умирать ни за Данциг, ни за Париж, в 1944-м вымещала свой позор на беззащитных женщинах. С другой стороны, когда я под конец разговора об упадке русской периодики за рубежом и о деятельности Гуля спросил Струве, может ли он как русский дворянин назвать Гуля порядочным человеком, то он сначала улыбнулся, потому что, по его словам, "давно не слышал такой постановки вопроса", а потом ответил очень серьезно: "Нет, как русский дворянин я не могу вам сказать, что Гуль порядочный человек".

Р. О. Якобсон, человек очень чуткий к обвинениям в гитлеризме, но знавший особенности человеческого существования в падшей стране, прекрасно относился к Н. Н. и всегда хвалил ее мемуары.

Я полагаю, что перед войной и до лета 1942 года она разделяла образ мыслей своего круга: не только жестокие политические убеждения и упования четы Мережковских (религиозные чаяния которых она презирала), Вольского, Смоленского и им подобных, но и благоглупости Бунина с Зайцевым, надеявшихся, судя по их опубликованной переписке, что не так страшен черт, как те, кто его малюет.

Судя по "Курсиву", из поездки в Германию по издательским, вероятно, делам в 1937 или 1938 году Н. Н. не вынесла более тягостного впечатления, чем то, что бледная и слабая берлинская девочка-кабатчица, воспитанная Ходасевичем в зловещем стихотворении "An Mariechen", стала, как ей показалось, толстой женщиной лет сорока. Мало того, увидев "новую Германию", она, видимо, решила, что Гитлер сможет покончить со Сталиным. Когда я ей сказал однажды, что у нее замечательно получился Асташев в "Облегчении участи" (тот, что любил смотреть в кинохронике, как человек в отличной паре военных сапог принимает парад других людей в таких же сапогах), она ответила: "Еще бы, Асташев — это я". Я думаю, что в разговорах она, всегда любившая ошарашить собеседника чудовищно вызывающими мнениями, могла сморозить безобразную чепуху.

Н.Н. писала незабываемые стихи, отличные повести, посредственные романы (хорош был только первый), она сделала несколько выдающихся наблюдений как литературовед и литературный критик, но она не была так умна, как может показаться со стороны. Это особенно заметно в ее очень слабых стихотворениях на злобу дня. Зато она жадно прислушивалась к умным, а иногда и не очень умным, но интересным или привлекательным людям, надолго попадая под их влияние.

Антисемиткой она не была никогда, но долго не верила, что евреев убивают, а когда увидела гестапо в действии, получила прикладом по уху и узнала правду, то немцев возненавидела лютой и непреходящей ненавистью, как ненавидят только разочаровавшиеся.

При немцах она не напечатала ни слова, в отличие от многих иных, и имя ее не фигурирует в статье Г. Я. Аронсона о русских гитлеровцах в журнале "Парижский вестник" ("Новый журнал", № 18). В на редкость неряшливо откомментированной и односторонне составленной публикации «Дело» Нины Берберовой» в журнале ("НЛО", № 39, 1999. См. с. 173, прим. 89) умалчивается об отсутствии ее имени в аронсоновском позорном реестре.

Я знал Берберову без малого тридцать лет. Если правда, что она симпатизировала гитлеризму за четверть века до нашего знакомства, то, значит, прав Гумилев: мы меняем души. Портрет ее души во второй половине 30-х гг. я нахожу отчасти в образе Нины Туровец, Нины "de Rechnoy" (она же Madame Lecerf) из романа "Подлинная жизнь Себастьяна Найта". Недаром Набоков водил Нину Берберову завтракать в парижский "Медведь"; я думаю, что он не "радовался" ей, как она оптимистически предположила в конце 4-й главы "Курсива", а бесстрашно изучал опасное очарование женщины, разбивающей судьбы, той равнявшейся на пошлейшую современность, отрекшейся от всего, что было свято для Ходасевича, незабываемой и смертоносной "любительницы жизни", к которой обращены слова самого потрясающего любовного стихотворения XX века: "Кентавра скорее кровь / В бальзам целебный превратится, / Чем наша кончится любовь".

В дни первых наших встреч с нею, в Нью-Йорке на святки 1968 г., в знаменитой артистической забегаловке "Stagecoach" ("Дилижанс"), она испытывала мое терпение давно уж нагово-

ренной пластинкой о том, что русское стихосложение старомодно и ямбом больше писать нельзя, он однообразен, над этим на Западе смеются; что Пушкин подражал Александру Поупу, “знаете, был такой английский поэт XVIII века Александр Поп”; что Ходасевич был хороший поэт, но не величайший поэт нашего столетия, со стороны Набокова очень любезно было так написать, но ведь это неправда, великий поэт в России был только Блок, а вообще русская литература сильно отстала в XX веке от западной, она жеманна, ханжески стыдлива, и у нее не было такого гениального освободителя, как Д.-Х. Лоуренс.

Помню, что, с растущим раздражением слушая всю эту несусветную смердяковщину, я отвечал довольно невежливо: “Да, Н. Н., я знаю, кто такой Александр Поуп, у меня диплом бакалавра с отличием в области английской словесности. Нет, Н. Н., позвольте показать наглядно вот на этой бумажной салфетке, как разнообразен русский ямб, хотя, я думаю, вам это уже объяснял когда-то сам Андрей Белый. Да, Н. Н., я думаю, что Ходасевич был великий поэт и день его славы придет, как пришел уже день славы Мандельштама. Нет, Н. Н., мне кажется, что в XX веке нет другой такой литературы, как русская, во всяком случае, поэзии такой нет”.

Именно тогда, глядя на ее все еще прозрачную, гладкую, матовую кожу, слыша прекрасный, старомодный, хрустальной чистоты русский язык, на котором она пробовала меня интриговать своим светским американским модернизмом, я понял, что она страшно похожа на Madame Lecercf. Но тут она улыбнулась улыбкой упоительного удовлетворения и сказала скороговоркой: “В самом деле, в какой еще литературе сейчас есть одновременно и Набоков, и Солженицын?”

В те дни издатели Harper & Row как раз выпустили в свет “В круге первом” на русском языке, и этот толстый том, набранный мелким шрифтом, с американизированным именем автора “Александр И. Солженицын” на серой суперобложке, лежал перед нами на столе рядом с черным хлебом, солеными огурцами и хреном.

Два года спустя я спросил ее: “Не кажется ли вам, что вы послужили прототипом для Нины Речной, как Лика Мизинова для Нины Заречной?”

Другая бы обиделась. Н. Н. просияла и спросила очень кокетливо: “В самом деле? Вы находите? Мне это не приходило в голову”.

Писать презренным ямбом Н. Н. умела и, хоть и боролась с этой своей слабостью, очень любила, чувствуя выразительные возможности разных видов ямба и их эмоционально-тематические ореолы до тонкости.

Одно из самых популярных стихотворений ее, переложенное даже на музыку, это “Гитара”, написанная трехстопным ямбом с чередованием мужских и женских окончаний, как в “Старом рыцаре” Жуковского, но не без невольной примеси лермонтовской пародии на него: “Его завидя глаз, / Смущались красотки, / Он п...л их не раз, / Перебирая четки” (семантический ореол этого размера описан в книге М. Л. Гаспарова “Метр и смысл”, М., 1999, с. 111–113). Замечательно у Берберовой неожиданное, почти физиологически выразительное отсутствие ударения на последней стопе в конце стихотворения, в разноударной рифме нежней — мучительней:

В передвечерний час,
В тумане улиц старых
Порой плывет на нас
Забывтый звон гитары.
Или открыли дверь
Оттуда, где танцуют?
Или в окне теперь
Красавицу целуют?

Над этой мостовой
Она звенит, как прежде,
Старинною тоской
По счастью и надежде.
Ее поет другой
Теперь в часы заката,
Она осталась той,
Какой была когда-то.

А ты? Прошли года
Речной воды быстрее,
Ты любишь, как всегда,
Ты стал еще вернее,
Ты стал еще нежней,

Чем в первые свиданья,
Твой жар мучительней,
Мучительней признанья.

Так и в балладе Жуковского не проходит дружба рыцаря с веткой оливы, сорванной в молодости в Земле обетованной и посаженной в родную землю:

Он стал старик седой,
И сила мышц пропала;
Из ветки молодой
Олива деревом стала.

Под нею часто он
Сидит, уединенный,
В невыразимый сон
Душою погруженный.

Над ним, как друг, стоит,
Обняв его седины,
И ветвями шумит
Олива Палестины;

И, внемля ей во сне,
Вздыхает он глубоко
О славной старине
И о земле далекой.

Трехстопный ямб, вообще, хорошо выходил у Берберовой.

А помнишь, как бывало
Мы разбивались в кровь?
Начнем же все сначала,
И голод, и любовь.
Не говори, что силы
У нас с тобой не те:
Весь мир все в той же милой
И дикой красоте.
Пусть ты смирней и глуше,
Пусть я не хороша,
В бессонницу подслушай,
Как плачется душа.

О чем ее рыдания?
Она готова вновь
На вечное скитанье,
На нищую любовь.

Я привожу эти стихи по сборнику 1984 г. ("Стихи: 1921–1983". Послесловие А. Сумеркина. New York: Russica Publishers), со странными рисунками Бахчаняна, изображающими, по-моему, гинекологический рентгеновский снимок. Видно, что художник внимательно читал "Курсив мой". На книжке дарственная надпись: "Дорогим моим друзьям Омри и Ирене, неизменно верная и любящая их Нина. Принстон 7 авг. 1985".

Передо мной несколько книг Берберовой с надписями, но десятки ее писем ко мне, кажется, безвозвратно пропали во время моих бездомных странствий. В отличие от нее, я не научился беречь архив.

На шмуцтитуле "The Italics are Mine" написано по-английски: "I invite you to our past" ("Приглашаю вас в наше прошлое"). На "Облегчении участи", которое нахожу сейчас на полке между Бабелем и Булгаковым, отделяющим Берберову от ее старшего знакомого Бунина: "To Gila on the eve of her great day (Гиле накануне ее большого дня)". Nina. Cambridge. 1969". Н.Н. обещала у нас накануне дня рождения моей старшей дочери. Это с ее стороны была неожиданная надпись. Подобно футуристам, она считала, что творческие люди не должны иметь детей, а творческие женщины в особенности. Детей она не любила, в отличие от настоящего футуриста Романа Осиповича Якобсона, не умела с ними разговаривать и считала, что если уж родились, то пускай растут, как трава.

Я встретился с Берберовой в первый раз почти ровно за год до этого, после трех лет переписки. Дело было так.

В сентябре 1965 г. я жил в Уолтэме близ Бостона. Там в Брандайском университете работала в знаменитом тогда отделе биохимии моя мать, приехавшая из Венгрии на год по исследовательской стипендии. В один прекрасный день мне позвонил по телефону из Принстона историк Луи Фишер, в 20-е и 30-е годы корреспондент в Москве, с тех пор разочаровавшийся в коммунизме. Ему нужен был человек, который мог бы перевести его книгу "Жизнь Ленина" на русский язык. Леа Гольдберг, израильская поэтесса, профессор сравнительного

литературоведения в Иерусалимском университете и сама великолепный переводчик, порекомендовала ему меня.

Опишу когда-нибудь по другому поводу, каким каторжным трудом по розыску русских и немецких первоисточников обернулась эта работа и какие смешные ляпсусы и глубокие выводы, построенные на этих ляпсусах, нашел я у Фишера. Однако ж, я должен быть ему благодарен, потому что он спросил меня, не буду ли я возражать, если он даст мой перевод на прочтение и стилистическую правку одной русской женщине. “Кому? — спросил я. — Вы не будете знать. Некто Берберова. — Разумеется, я знаю, кто такая Берберова, читал ее вещи и ее переводы английской поэзии в эмигрантских журналах, и она ведь издавала посмертный сборник Ходасевича. — В самом деле, вы читали ее? Вот уж не думал, что она пользуется такой известностью. Мы с ней живем по соседству в Принстоне”.

После смерти Фишера Н. Н. рассказала мне, что отношения между ними были близкие и скончался он прекрасной смертью, скоропостижно, во время их поездки, если я верно помню, на Багамские острова.

Так завязалась у меня переписка с Н. Н., сначала связанная с переводом Фишера, а потом и на более интересные темы.

В конце 1968 г., напечатав две статьи и сдав с грехом пополам в ноябре “генеральные” экзамены в гарвардской аспирантуре, позволявшие приступить к написанию докторской диссертации, я начал подыскивать работу. Времена были жирные, выражаясь языком “Слова о полку”, докторантов в области славянской филологии из хороших университетов сватали прямо на корню. Главная ярмарка невест была на ежегодном съезде Modern Language Association (Ассоциации новых языков). Съезд состоялся в Нью-Йорке, в двух гостиницах — “Hilton” и “Americana”. Мы остановились в “Хилтоне”, благо цены для делегатов съезда были даже и по тем временам неимоверно низкие. На доклады я не ходил, а встречался — довольно вяло — с возможными работодателями в кулуарах или за завтраком в голландской кондитерской, вообще же больше был занят главным событием того Рождества: десантом на аэродроме в Бейруте, о котором кричали заголовки газет.

С Н. Н. мы договорились встретиться заранее, она позвонила мне, и я пришел к ней в номер. Мы проговорили в первый

день около пяти часов, то сидя, то гуляя по огромному холлу. Я задавал вопросы, главным образом, о поэзии Ходасевича. Оказалось, между прочим, что ни она, ни, по всей вероятности, он не знали стихотворения Бунина "С обезьяной" (1907), странно предвосхитившего реальные подробности стихов Ходасевича о первом дне войны 1914 года. Н. Н. говорила больше о себе, о структурализме ("Я — с т р у к т у р а л и с т к а !"), о своей еще не вышедшей в свет книге воспоминаний и о важных, связанных с Ходасевичем, документах из ее архива, которые лежали где-то у дочери покойного М. М. Карповича. Все шло чинно и научно, пока не зашла речь о Георгии Иванове и я не сказал, что, по-моему, Иванов завидовал Ходасевичу, многому научился у него и именно поэтому обрел после смерти Ходасевича свой настоящий поэтический голос.

Глаза Н. Н. сверкнули нездешним огнем (она была в зеленоватом платье из тяжелого шелка, в норковой накидке и на очень высоких каблуках). Помню ее напряженный голос и слова: "Иванов не мог завидовать Ходасевичу. У Ходасевича нечему было завидовать!" Я с изумлением глядел на ее злое лицо. Вдруг она спохватилась и улыбнулась. "Вот Сирина, действительно, Иванов завидовал, и все завидовали Сирина оттого, что у него была такая жена". Я понял.

На другой день Н. Н. познакомила меня с известным лингвистом, главою славянского отделения в Йельском университете Александром Оскаровичем Шенкером, ее добрым знакомым, который через год дал мне работу у себя на кафедре.

Потом мы пообедали с нею и с Кириллом Федоровичем Тарановским в баварском ресторане. Тут они начали свой спор о Мережковских: они заводили его на моей памяти несколько раз. Речь шла о пресловутом выступлении Мережковского летом 1941 года. Берберова говорила: "Этого не было". Тарановский утверждал: "Слышал сам в Белграде по радио".

На самом деле, как мы знаем сейчас, выступление Мережковского транслировалось в Италии, на Балканах и на востоке Европы, а в Париже его не передавали, но трудно поверить, что Берберова не знала о существовании этой речи.

Другая тема их споров была игривее. "Зинаида Гиппиус была настоящий гермафродит", — говорила Н. Н., а К. Ф. возражал: "Нет, она была нормальная женщина, но с инфантильной

маткой, мне говорил сам Философов”. На это Н.Н. отвечала: “Не говорите мне! Я знаю!”

Поскольку клинические данные Философова и Берберовой без малого сорокалетней давности, я часто хотел процитировать последнюю строчку известного детского стихика про даму, которая сдавала в багаж картину, корзину, картонку и маленькую собачонку, но всегда, в конце концов, решал не вмешиваться в этот деликатный спор.

В 1978 г. летом Ирена Вайскопф, студентка Л. С. Флейшмана, занимавшаяся в Иерусалимском университете архивом Марии Самойловны Цетлиной и письмами Алданова и Бунина к ней в связи с визитом последнего к советскому послу, приехала в Америку, привезла с собой только что вышедший третий том сборника *Slavica Hierosolymitana* с публикацией стихов Владимира Жаботинского, посвященных Берберовой и подготовленных ею к печати.

Я тогда проводил свой отпускной год в Йеле, и Н.Н. пригласила нас приехать к ней в Принстон.

Она жила в крошечной квартирке в одноэтажном университетском строении, расположенном в виде буквы П на широком лугу. “Видите, как здесь хорошо и тихо: ни детей, ни собак”, — сказала она, усаживая нас перед домом на складные садовые стулья.

Обсуждали они с Иреной сначала письма Алданова по поводу дела Бунина, но скоро оставили этот унылый предмет и заговорили о Ходасевиче и о Блоке. Ирена страшно понравилась ей, она была равнодушна к женской красоте и уму, а Ирена еще и выговаривала букву Л несколько по-польски, и Н.Н. сразу стала ее поддразнивать: “Как вы говорите: Буок? Да? Буок?” И опять рассказала, как первая положила к ногам мертвого Блока белые цветы...

“Когда будете в Венеции, найдите гостиницу *La Serenissima*, где мы с Ходасевичем жили. А еще, когда будете простираться у львиного столба, то отсчитайте седьмую от лагуны колонну Дворца дождей и посмотрите на капитель, мы всегда смотрели”. И мы посмотрели на эту капитель, Она изображала таинство брака: пару, прикрытую одеялом.

Н.Н. написала Ирене 1 сентября 1978 г. подробное, хорошо аргументированное письмо об отношении Алданова к Бунину — с неожиданно лирическим окончанием, которое я, с разрешения Ирены, здесь приведу:

Но каковы же были эти отношения? Судить о них помогут следующие факты: ежедневно, по утрам, на виллу Иль Сорито приходил почтальон. В среднем получались 3–4 газеты (две — эмигрантские, “Правда” и итальянская) и около 12–15 писем, из которых около 10-ти минимум были Горькому. После утреннего кофе и работы у себя в кабинете, в 1 час дня бывал завтрак, и после завтрака Горький брал Ходасевича к себе в кабинет, и они вместе просматривали и газеты, и кое-какие письма, и обсуждали ответы на них. Очень часто в это же время Горький показывал Ходасевичу свои ответы на письма, полученные за последние дни.

Провожая Ходасевича из Сорренто, Горький старался всучить ему деньги и настаивал так упорно, что Ходасевич в конце концов взял 100 долларов. Эти деньги помогли нам прожить в Париже около двух месяцев. Сын Горького, Максим, снял Горького в последнюю минуту, когда мы садились на извозчика. Эта комическая фотография (Горький отдает нам честь, стоя у ворот) находится в моем архиве: Горький прислал мне ее в Париж”.

Получив письмо Н. Н., я обратился к главному редактору “Время и мы” с протестом, а копию отправил Н. Н. Желанных последствий это не имело. Редактор, журналист советской школы, на мое письмо не ответил вообще, как я того и ожидал, а Яновский, когда выпустил свои мемуары книгой, то из коммерческих игр сделал покер, а сплетню о Сорренто описал как “слух”, а не как достоверный факт. Теперь эту клевету, к сожалению, повторяет новое поколение историков литературы.

Но и это не беда. Посмертная хула — часть трагического в истории, она лучше, чем канонизация недостойных. Утешая страшно огорченную Н. Н., я написал ей: “Иногда мне кажется, что мы унижаем память великих людей, когда защищаем их как людей от клеветы”. Но и сам я иногда должен был защищать жертв истории от ярости Н. Н.

После нашей встречи летом 1987 г. в Вермонте Н. Н. прислала нам второе издание “Курсива” — “на память о встречах, на память о согласиях наших и несогласиях, на память об общей нашей любви к Одному и Тому же”. В этих прописных буквах я вижу что-то нехарактерное для прежней Берберовой, но ставить точки над “i” не стану.

Я помню, в чем заключались наши “несогласия” тем летом, когда Н. Н. приехала в русскую летнюю школу в Миддлбери получать степень почетного доктора. Там царила тогда странная атмосфера. Студентка из старой эмигрантской семьи, приехавшая из Парижа, перестала ходить на мои лекции, узнав, что я еврей, и очень негодовала, что ее не предупредили заранее о еврейском засилье и что ее ввела в заблуждение моя фамилия (другой еврей, преподававший русскую литературу, был покойный Е. Г. Эткинд).

Н. Н. была окружена восторженными молодыми людьми, которые все расспрашивали ее о Ходасевиче. Я не удержался и напомнил ей наш давний разговор в “Stagecoach”. “Теперь вы согласны, что Ходасевич был великий поэт?” Она опустила глаза и ответила: “Еще бы не помнить. Вы были правы. Его день пришел”. Но отыгралась, когда я сказал ей, что разбираю с аспирантами ее “Лирическую поэму”. “Прикажете вас благодарить? — Благодарить должен я вас, а вот как она была связана с «Соррентинскими фотографиями?»” — Они написаны одновременно, моя поэма даже раньше”.

С поэтами филологу не надо говорить об их стихах, это не этично, да и все равно правды не скажут.

Была эпоха возобновленных исторических дискуссий, а она не могла жить без политики, и разговор, не в первый раз, зашел у нас с ней о расстрелянном императоре. “Ходынка, Цусима, девятое января, 14-й год, и все-таки никто не заслужил той смерти, которой умер он, с сыном на руках! — Он заслужил! Он заслужил свою смерть! Десять таких смертей!” Никогда не встречал я человека, который бы одновременно так ненавидел Романовых, презирал русскую аристократию, какой она стала к концу XIX века, и боялся русских революционеров и масонов. Масоны были ее манией, она серьезно считала, что если бы не масонская клятва союзникам, то Россию можно было бы спасти, может быть, еще и летом 1917 года.

Н. Н. прислала мне “Люди и ложи” (1986) с изъявлением “странного чувства, что эта книга как будто вышла как раз в нужный момент!”. Она заложена у меня листком с пунктами моего телефонного разговора с ней о ее книге. Главные из них: 1) “Великий Восток” никогда не принадлежал к “принятому (ассертед) масонству”; 2) нравственный дух масонства, дух тер-

пимости, был чужд этой ложе, как непонятен он и самой Берберовой; 3) основным изначальным пороком масонства была секретность, которой воспользовались те, чья специальность — секреты. Политические разведки с самого начала проникли в ложи. “Началось с Мастера-Месяца, кончилось полковником Аписом”, — сказал я ей. “Какой мастер?” — переспросила она. “Мастер-Месяц в хижине угольщиков, когда Байрона принимают в карбонарии, знаете, у Алданова?” — “Конечно, знаю!” — воскликнула она и мгновенно замолкла, вспомнила, что Мастер-Месяц оказался агентом английской разведки. Это последний наш разговор, который у меня записан. Помню, что мы разговаривали по телефону опять в начале 1990-х годов, после выхода стихотворений Ходасевича в “Библиотеке поэта”: Н. Н. была окрылена своим успехом во Франции и в России. Казалось, что много времени еще впереди, успеем поговорить.

Но вдруг она исчезла из поля зрения, и смерть ее прошла для нас незаметно. В тот год мы были очень заняты семейными и научными делами.

Да, хороши сады за огненной рекой,
Где черни подлой нет, где в благодатной лени
Вкушают вечности заслуженный покой
Поэтов и зверей возлюбленные тени.

Н. Н. была отважная женщина, не железная, а из самой стойкой шведской стали, тверже, чем Август Стриндберг, которого она — с неженскою душой — почитала. К религии, в которой была крещена, она относилась как к идолопоклонству и бессовестному обману.

В семидесятые годы какой-то “выездной” советский поэт не нашел для нее более подходящего подарка с родимой земли, чем медная иконка, вроде той, что привез ей в декабре 1942 г. из оккупированного Смоленска С., “герой нашего времени”, описанный в “Курсиве” в главе “Черная тетрадь”. Н. Н. с наслаждением рассказывала, как озадачен был добрый человек из богомольной брежневской Москвы, когда она ему посоветовала: “Это вы лучше подарите моей уборщице, а не мне”.

Того квадратного окошечка билетной кассы, в очереди к которому всю жизнь стоял Иннокентий Анненский, она не боялась, а когда ей почудилось, что очередь движется слиш-

ком быстро, то перестала спать, решив, что отоспится уж там на месте. Однако ее увезли в больницу в полном упадке сил, и врачи объяснили ей научно, что спать человеку необходимо в любом возрасте. После этого она прожила еще пятнадцать лет, ветреная, чуть сгорбленная Геба, всех читателей дружески посвящавшая в свою базаровскую тайну вечности и гроба (“Пусть ваши ведают потомки, — / Своих иметь не довелось”):

Мой друг явиться отказался
На приглашение богов,
Он, кажется, больным казался
И ужинать у них не мог.

Меня туда не пригласили,
Я — разумеется — пошла
И там, на ложе белых лилий,
Голосовала и спала,

И тайну чудную узнала
(Громокипящий их секрет),
Она вас удивит немало:
Бессмертья нет! Бессмертья нет!

.....

- И вот проходим мы незримо
Мимо окошка, мимо, мимо
Той кассы, где лежит секрет.
- Там некому вернуть билет.

А все-таки иногда хочется написать ей несколько слов электронной почтой: “Ау, Нина Николаевна! Ведь мы не успели попрощаться. Хорошо ли вам в садах за огненной рекой?”

Содержание

.....

<i>Дмитрий Быков. Предисловие</i>	7
---	---

.....

<i>От автора</i>	17
------------------------	----

.....

1921–1933

“Тазы, кувшины расписные...”	21
“Честно, весело и пьяно...”	22
“За эту ночь безветренную или...”	23
Пятое января	26
Петербург	27
“Перед разлукой горестной и трудной...”	28
Вальс	29
“От ваших сказок и рассказов...”	30
Лирическая поэма	34
“Труд бывшего человека...”	45
“Маляр в окне свистал и пел...”	46
“Сложить у ног твоих весь этот страшный мир...”	47
7 августа 1921 года	48
Гитара	49
“Мне этот вечер слишком ясен...”	52
“Без женской нежности, друзья, как жить?..”	53

Восьмистишия

1. “В этот день был такой небывало протяжный закат...”	54
2. “Спроси, и я отвечу...”	54

3. “У милых, нежных сомкнутых колен...”	55
4. “Не надо этой скромности...”	55
5. “От счастья я могу устать...”	55
6. “За гордость давнюю, за одинокий сон...”	56
Вечная память	57
“Пускай блаженство переходит в боль...”	62
“Припомни день вчерашний...”	63
Надпись на книге	64
“За погибшую жизнь я хотела любить...”	65
Из книги “Наше сердце”	
Первый отрывок	66
Второй отрывок	67
Третий отрывок	68
Четвертый отрывок	72



1942—1962

Шекспиру	77
Разлука	79
“Колясочки. Собачки. Тишина...”	81
Белая ночь	84
Сон	85
Дракон	88
“Последний поэт России...”	90
“Две девочки — одна с косой тугой...”	94
Памяти Э. Н. Гиппиус	95
Карибское море	96
“Ребенок маленький лепечет...”	98
“Шумели деревья. Шатался гуляка...”	99
“Кассир спросил: Туда и обратно?..”	100
“Часы в столовой к ночи стали...”	101
Луна	104
Кассандра	105
Я остаюсь	107
Пора спать	108
Стрекоза	109
“Есть нити, есть сети...”	112

“Ни о вазе. Ни о розе в вазе...”	113
Передача на ту сторону	115



1965–1983

“Мне снилось: мы были с тобой в раю...”	119
Из стихов о прошлом	120
Из стихов о настоящем	122
Детская песенка о птицах	123
Ветреная Геба	
1. “Я проливаю кубок громкий...”	126
2. “Раздался вдруг голодный клекот...”	127
3. “Учу язык глухонемых...”	128
4. “Он говорил: “Я не могу...”	128
5. “Летит на солнце легкий пух...”	129
6. “Книги в ящик уложились...”	129
7. “Прошли верблюды сквозь ушко...”	130
8. “Открой, заговори, скажи...”	130
9. “На роковой стою очереди...”	131
10. Первое послание Н. Моршену	132
11. Второе послание Н. Моршену	133
“Старушки кормят птиц...”	134
О бабочках и рыбах	135
Памяти Державина	138
Переводы с берберского	
1. “Если ты тростник, я рыбак и держусь за тебя...”	139
2. “Давай посидим с тобой, как два леопарда...”	139
Берлинский зоопарк	
1. “Два лебедя, касаясь клювом клюва...”	140
2. “В зоологическом...”	140
3. “Как лицо без носа...”	141
4. “Из русского плена немецкие солдаты...”	142
“Затерялся мальчик в Америке...”	144
Гуверовский архив, Калифорния	145
Венеция	148

“Орлы и бабочки (и кое-что другое)...”	149
Из Байрона.....	150
Предсмертный диалог	151



<i>Омри Ронен. Берберова (1901–2001)</i>	153
--	-----

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗДАНИЕ

Нина Берберова
**“Немного
не в фокусе...”**
Стихи 1921 – 1983

12 +

Заведующая редакцией

ЕЛЕНА ШУБИНА

Выпускающий редактор

АЛЕКСАНДРА ЛЕСКОВСКАЯ

Художник

АНДРЕЙ БОНДАРЕНКО

Корректоры

ВЕРА СОЛОВЬЕВА, ВЕРОНИКА БОНДАРЕНКО

Верстка

АНДРЕЙ КОНДАКОВ

Подписано в печать 25.01.2015.

Формат 84 × 108/32.

Усл. печ. л. 5,5. Тираж 2000 экз.

Заказ № 8189.

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры



<http://facebook.com/shubinabooks>



<http://vk.com/shubinabooks>

ООО “Издательство АСТ”
129085, г. Москва, Звездный бульвар, д. 21,
строение 3, комната 5
Наш электронный адрес: www.ast.ru
e-mail: astpub@aha.ru

“Баспа Аста” деген ООО
129085 г. Мәскеу, жұлдызды гүлзар, д. 21, 3 құрылым,
5 бөлме Біздің электрондық мекенжайымыз:
www.ast.ru; e-mail: astpub@aha.ru

По вопросам оптовой покупки книг обращаться
по адресу:
123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2,
БЦ “Империя”, а/я №5
Тел.: (499) 951 6000, доб. 574

Қазақстан Республикасында дистрибьютор және өнім
бойынша арыз-талаптарды қабылдаушының өкілі
“РДЦ-Алматы” ЖШС, Алматы қ., Домбровский көш.,
3 “а”, литер Б, офис 1. Тел.: 8 (727) 2 51 59 89,90,91,92,
факс: 8 (727) 251 58 12 вн. 107; e-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz
Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген

Охраняется законом РФ об авторском праве.
Воспроизведение всей книги или любой ее части
воспрещается без письменного разрешения издателя.
Любые попытки нарушения закона будут
преследоваться в судебном порядке



Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»

143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.

www.oaomprk.ru, www.oaomprk.ru тел.: (495) 745-84-28, (49638) 20-685

Нина Берберова — автор знаменитых мемуаров "Курсив мой", раздражающе смелого исследования собственной личности и судьбы в контексте XX века. Сборник ее стихов, впервые выходящий на родине, — полная противоположность мемуарам. Это лирический дневник не "ума холодных наблюдений", а "сердца горестных замет", охватывающий более шестидесяти лет сложной, богатой и поистине легендарной жизни.

“ Хороша в ней была вечная молодость и вечная любовь к новому в науке, в искусстве и в жизни, и вечная женственность, и вечная готовность ответить ударом на удар. Н. Н. писала незабываемые стихи...

ОМРИ РОНЕН

“ Стихи Берберовой — это заметки на полях жестокой жизни, уступки "железной женщины" собственной женской и русской природе.

ДМИТРИЙ БЫКОВ



9 785170 892174